

ДОРОГА НА ХЕВРОН

Илья Беркович

РАДУГА

Моей дочери Маше

*Памяти Владимира Шишкина, из восьми
текстов которого выросла эта повесть*

ПАПКА

1

Самолет прибывает шипя, автобус прибывает шипя, спросонья кажется, что идет проливной дождь, а это шипят машины на междугороднем шоссе, и рассвет прибывает, как холодная вода в широком сухом русле.

Рассвет приходит сбоку, заполняя пустоты между широкими, неподвижными листьями кленов. Рассвет медленно проявляет предметы: к десяти становится ясно, что огромная переполненная листьями сумка у самого крыльца не сумка, а высокий пень.

Газон между деревьями толсто, шероховато покрыт цветными листьями, черными и гладкими остались только стволы и бугорки земли вокруг стволов.

Козлевич со скрипом проворачивает толстый белый шпингалет, открывает форточку и высовывает голову наружу. Какая непривычно огромная, забытая разница между улицей и домом! Козлевич не просто смотрит, он слушает, вдыхает, вспоминает.

Его блестящая, окруженная рыжеватыми волосами лысина вполне вписывается в пейзаж. Так и полагается местному, пусть даже долго отсутствовавшему существу. Козлевич часто думал о результатах мимикрии по дороге на работу, за рулем, глядя на сбитых машинами зверьков, лежащих по утрам на обочине. Не всегда успеваешь заметить, кто это: лисица, горная куница или дикая собака, но всегда удивляешься, насколько шерстка мертвого зверька неотличима по цвету от колючих кустов, жухлой травы и листьев. И думаешь: «Что, сынку, помогла тебе твоя мимикрия?» Козлевич всю жизнь мечтал не выделяться и был бы рад узнать, что ему это наконец удалось.

Вчера вечером он прилетел в родной город, чтобы подписать договор на издание книги о своей юности.

2

«Если бы люди рождались взрослыми и грамотными, – думал Козлевич, – от напора впечатлений они сразу становились бы писателями». Самого его усадила за писательский стол яркость новой страны. Яркость света, отраженного от белого камня стен. Профили старух – как профили гор. Горки шафрана и перца – как

профили старух. Жесткая мачтовость пальм и каменные палубы узких долин. Салаты в витрине закуской – как клавиши цветочного рояля. Козлевич не мог всего этого вместить, а высказать было некому. Кому выскажешь? Братьев-эмигрантов не интересовало то, чем они сами были оглушены и переполнены. Их встречи за водкой «Голд» (напоминание то ли о Голде Меир, то ли о золоте; ведь не о голоде же?!) походили на встречи барабанщиков. Все барабанили одновременно, каждый в своем ритме, в основном об унижениях. Беспорядочный шум прерывался тостом: «Ну, давайте!». А заграничные русские друзья и родственники в ответ на описания минеральных прудов и рассказы о судьбах курдских трактористов писали: «Держись, Вадик! Жизнь – она полосатая! Правильно ты уехал. У нас тут вообще полный беспредел!»

И Козлевич, поняв, что слушателей нет и не будет, поневоле начал свои впечатления записывать, и не просто так, а в виде прозы. Одновременно он решил (по журналам) проверить, занимаются ли здешние русские писатели тем, чем пытается заниматься он.

Журнал хайфских старожилов наполняла в основном публицистика. Тут было много исконно русских рассуждений о том, что лучше, пена или дом, много разумной и обоснованной критики в адрес Солнечной системы и предложений о том, как ее реорганизовать. Козлевич скоро понял, что эмиграция консервирует язык и образ мысли. Судя по статьям, публицисты приехали из России во времена Народной воли, позиции которой они теперь мягко пересматривали. Поэты и прозаики, из номера в номер одни и те же, скромно теснились в этом издании, как на балкончике.

Иерусалимский журнал переполняли именно литераторы. Число их было огромно: двадцать-тридцать новых в каждом выпуске. Плюс имена, известные Козлевичу еще по «Юности» и «Дружбе Народов».

Писателей приехала добрая сотня тысяч. Козлевич с болью почувствовал, что даже если его напечатают, публикация при таком раскладе – не рождение, а похороны, когда произведение с горящей свечкой имени пускают по рассветной реке, и через минуту даже сам стоящий на берегу автор уже не отличит своей повести от других плывущих по реке гробов с мерцающими огоньками имен. Кого же он удивит, кто его заметит, если все приехавшие из России – писатели?

Тут Козлевич понял, что он, оказывается, хочет удивить мир. Ну нет, сказал он себе. Я инженер, взрослый человек. К чему мне уродовать свое гладкое, довольное лицо прыщами подростковых амбиций? Просто у меня новое хобби – писательство. Буду писать, как собирают спичечные коробки или играют на баяне турецкий марш. Хобби... Наивный Козлевич не знал, что за марку убивают, что любитель, терзающий баян, слышит не хриплые, рваные стоны несчастного инструмента, а сладостную, слитную мелодию. Искусством невозможно заниматься без амбиций. Мыслеобраз, дающий толчок, кажется гениальным, совершенным, единственным, как камень или ракушка сквозь слой морской воды – иначе нет смысла нырять, вытаскивать, мучиться с обработкой. Главная амбиция и есть глупая вера в то, что выйдет как у Гоголя с Шопеном, что вынутый из воды воображения замысел не потеряет переливчатой красоты.

Вчитываясь в эмигрантскую прозу, Козлевич не мог понять, почему авторы описывают не действительность новой страны, по которой поток эмиграции только что протаскил их так, что царапины и ушибы еще не зажили, а штампы ситуаций и переживаний, разработанные газетами. Героиня, чтобы спасти мужа-физика, мывшего лестницы, становилась проституткой, а героя убивал террорист. Авторы явно не знали, как быть с неушедшими на панель и неубитыми. Чтобы описать их дальнейшую жизнь, пришлось бы оторваться от себя и взглядеться в беспорядочное, оглушительное, ослепительное вокруг, а это так трудно, да и незачем: газета тебе все расскажет как есть.

И все же, почему бы автору не описать белую, в трещинах, стенку над промышленной раковиной, в которой он мыл посуду, складки на брылястом лице хозяина, который так и не заплатил, и ночной вид из окна квартиры, откуда утром надо было неизвестно куда выметаться с женой и младенцем?

Неожиданно для себя Козлевич нашел единомышленников среди иерусалимских поэтов. Один из них, судя по фотографии – старейшина, лепил стихи из эмигрантских диалогов, уличных и библейских сцен, названий мест, русских имен и еврейских фамилий. Изделия его, похожие на рахат-лукум с орехами, на полупрозрачные витражи, были склеены поэтическим гашишем такой силы, что парили над сероватыми страницами журнала, как зимние облака. Другой, умный, внимательный и точный пейзажный лирик, видел округу до дна. Он то возводил ее бесчисленные подробности в образ закрытой высшей книги с золотым обрезом городского заката, то низводил их до перечисления, донесения, отчета.

Козлевич попытался в прозе проделать то, что его единомышленники делали в поэзии.

3

Яркость новой страны тебя обожгла, скажете вы, так рисуй! При чем тут проза?

Козлевич баловался в институте карандашом и кистью и знал цену своим рисункам: три копейки. Для новых, огромных впечатлений новой жизни нужен был совершенно новый инструмент.

«Через час, – писал Козлевич своим новым инструментом, – солнце финиковой долины бросит на звонкую землю поддон, поставит на этот поддон ногу и будет давить. Я жду тракториста в сторожке на краю поля, за столом в кофейной и земляной пыли. Между электрическим чайником и коробкой армейских бисквитов лежит молитвенник, раскрытый на странице утренних благословений. Все на этой странице, кроме света и тени, выжжено до пустоты. Нужно рано вставать, благодарить за полости тела и за душу. За бисквит. За ложку кофейной пыли, сваренной в голубой пластиковой чашке. Я допью кофе, и приедет трактор, катя за собой огромный, как колеса финикийских колесниц, барабан черных резиновых трубок. В молитвеннике не написано, как просить, чтобы мне дали другую работу. Через три часа соединения рвущихся трубок я устаю, тракторист называет меня ослом, а я не свой, чтобы его бить. Я выхожу на улицу. Солнце заносит ногу. Мимо рас-

паханных черных борозд, мимо сухого русла бреду к кустарнику. Кустарник живет между полем, которое распахали евреи, и шоссе, по которому неслись колесницы филистимлян. В кустарнике, на верное, гадят. В него втоптана тропинка. Иду по тропинке и вижу среди колючих ветвей плотное, чужеродное.

На крошечной полянке стоит, ростом мне по грудь, базальтовый идол. Коренастый, бесполой, с лягушачьими лапками и прикрытыми веками. У подножья его в консервной банке шевелятся крупные муравьи. Я уже знаю, что нельзя просить у идола хорошей судьбы на этой земле. Но я жалею его, чудом уцелевшего. В сторожке, в банке, остались три армейских печенья. Я принесу ему. Выхожу из кустов и вижу трактор. Тракторист сегодня бородатый.

– Ты знаешь, что у вас там, в кустах? – кричу я сквозь рык мотора.

Тракторист хмурится. Он не слышит. Я иду к кустам, жестом зову бородатого, он не верит, что это важно, но тянется по тропинке за мной. Никакого идола на полянке нет. Только огромная черная шина от грузовика и консервная банка. Через зазубренный край банки переползает большой черный муравей».

4

На последней странице журнала чернел электронный адрес редакции, но для Козлевича это было как сложить из листов с расказами кораблики и пустить их в водосточную трубу.

С текстами в прозрачном пакете Козлевич пришел на презентацию нового номера.

Люди в фойе кучковались, обнимались, высокий седокудрый дядя и женщина с бледным, как бы слепым лицом узнали друг друга и демонстративно не поздоровались.

– Лео-ора пришла, краси-ивая, – протянули сбоку.

Все знали друг друга. Только Козлевич был чужой. Он робко занял место на камчатке, у стены. Ряды затылков перед ним были седыми и лысыми. Козлевич не подумал, как выглядит сзади его собственная голова. Вообще, народ в зале собрался видный, пузатый, по-южному уверенный, с крупными носами, выпуклыми глазами и рельефными морщинами, не было ни липковолосых литбомжей в старых джинсах, ни худых поэтических старушонок.

Вечер напоминал поездку в машине времени, двигавшейся возвратно-поступательно: туда-сюда. Физик и лирик в песне энергичного барда из Беэр-Шевы спорили, что же все-таки первично, материя или дух? Дама в синем костюме, с манерами администратора среднего звена, читала рассказ, который мог бы написать вылеченный антидепрессантами Достоевский.

Пели песни военных лет (дело было под 9 мая). Затем на сцену поднялся рослый человек, представился Андреем и начал рассказывать о недавно умершем своем и журнала друге Володе. Под потолком, над сценой, висели деревянные рамы. Будь Андрей сантиметров на десять выше, его лицо угодило бы в раму. А так рама, или скорее рамка, заслоняла ему подбородок, нос и глаза. Виден был только полуседой чуб. Впрочем, долго говорить Андрею не дали. Маленький человек скоро начал сгонять оратора – и

сигнал. Тут Козлевич понял, что это и есть хозяин журнала. Он, а не сидевшая рядом с ним за столом ведущих дама в синем костюме. Козлевич обрадовался: дама внушала ему робость, а маленький человек нравился: он откровенно не заботился о своем виде и достоинстве, а только о том, как идет вечер. И вечер, благодаря его рулю, шел живо и гладко.

Козлевич, однако, искал глазами протекции. Протекция нашлась: у каждого русского еврея есть хоть один знакомый литератор. Козлевич был представлен редактору, который, не чинясь, взял у него пакет.

На следующую презентацию Козлевич пришел уже автором, одним из тридцати «напечатанных». На сцену он не полез, но приободрился и за месяц написал еще несколько коротких рассказов. Рассказы были о виденном и слышанном. О новой округе.

О взрыве, от которого проснулся. Подумал: что за диверсии ночью? Спать! И заснул. Назавтра (был выходной) пошел в торговый центр за хлебом. Вместо единственного в квартале бара чернел горелый пролом. Бар был вырван, как гнилой зуб. Портреты Элвиса Пресли, полка с пыльной бутылкой виски, стойка, за которой причесанный под Элвиса пожилой, до смерти недовольный судьбой юноша в джинсах и кожанке, вздыхая, продавал сосиски и сигареты, исчезли. Над развалинами курились разговоры зевак:

– Люди не хотят работать. Хотят легких денег.

– Взрывал бы сам свой бар. А то нанял солдата, солдат обжегся и все в больнице рассказал.

– Вместо страховки будет сидеть.

Зеваки не понимали, что хозяину бара было все равно. Взорвалась Калифорнийская мечта. Мечта, привезенная им из Калифорнии, вздулась и лопнула в нашем квартале, где никто не подъезжает к бару в открытой красной машине и не заказывает двойной Jack Daniels, а все ходят мимо в шлепанцах, лузгают семечки и покупают билеты спортлото.

Неделю душа мечты висела на месте взорванного бара, а потом расчищенный оштукатуренный пролом заняла фалафельная лавка, сидя перед которой хозяин и бывший таксист Жожо громко играли в кости.

Следующий рассказ звался «Победа управдома»:

– Я знаю только, что у царицы проблемы, – сказала женщина в кофте с широкими рукавами и капюшоном, по самые очки закутанная в белую шаль.

– Причем тут царица? – спросил жилец Натанзон, фотографируя лужу на газоне вокруг прорванной трубы.

– Вы, русские, не понимаете ничего!

– Объясни, может, поймем.

– Если к вечеру в доме не будет воды, царица Суббота окажется в изгнании!

– Заплати, – подступил к женщине управдом, – и к Субботе трубу починят!

– Как я заплачу? Я должна спросить разрешения у мужа, а муж в Шомроне!

– Так позвони мужу!

– Как я позвоню? Я могу только отвечать на звонки. Я заблокировала свой мобильник, чтобы не злословить. Злословие убивает душу.

– Вот тебе мой мобильник!

– Я знаю только одно. Без воды в Субботу я не буду в своем доме царицей. Я буду грязной служанкой...

Потом Козлевич описал ночное купе поезда Лондон – Париж и гневную речь Вовы Раскина над телом в жопу пьяного брата Сени:

– Ты что мне, дворняга, наделал? Я поехал-то в эту Европу, чтобы доказать: если за границу съезжу, значит я уже не совок. А теперь ты, дворняга, при всех нажрался, выходит, опять мы с тобой совки?!

Козлевич направлял лупу на участки, сегменты действительности. Освещенные его вниманием места и предметы увеличивались, нагревались, казалось, сейчас над ними начнет куриться дымок. После описания места темнели, гасли, становились неинтересными и навсегда сливались с окружающим. Козлевич изучил свой квартал до бродячих собак и кошек, он знал, у кого из соседей что болит, и вплетал в свои описания обрывки их разговоров, а все-таки чувствовал, что знает недостаточно, извне. Недаром он назвал свой цикл «Вижу из окна». Козлевич стал задумываться: «А что я, собственно, знаю изнутри?»

И, сняв ботинки, он вошел сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс в реку прежней жизни, которая течет в голове каждого эмигранта. Река эта протекает через Уткину заводь, откуда сотрудники уезжали в колхоз, через институтскую курилку, она течет мимо деревянных грибов детского сада. Все слои прежней жизни в ней смешиваются, но дома остаются прежними и люди не стареют. И, ныряя в прошлое, шаря руками по его дну, Козлевич заметил, что вода стала мутной, как разбавленный арак. Он не видел, не помнил подробностей. Их придется придумывать, долепливать. Но если готовых, цельных слоев воспоминаний нет, если тяжелая работа неизбежна, надо выбрать для реставрации главное время, главный слой. Козлевич выбрал раннюю юность. Выбрал, чтобы понять.

И еще: Козлевич подсознательно надеялся, что если он опшет, то есть осветит и согреет родной ленинградский микрорайон, то потом тот остынет, померкнет и оставит, наконец, Козлевича в покое. И Козлевич сможет сосредоточиться на иерусалимском районе, в котором живет сейчас, и перестанет, огибая деревья прошлого, наткаться на фонарные столбы настоящего.

5

Козлевич полез под диван, где в кожаном черном бауле лежали тетради и папки. Просмотрел со стыдом бесполезные для начатого дела юношеские стихи. Почитал свои фальшивые от неловкости дневниковые записи, которые торчали, как чучела, неспособные даже коснуться растопыренными подобиями рук пронзительного воздуха юности. Развязав серые, вялые, как макароны, шнурки, открыл папку из дрянного картона. В папке лежали примерно пятьдесят исписанных чужим почерком листов. Листы эти не были ни

подсунуты Козлевичу под дверь, ни выброшены на берег моря в литровой запечатанной сургучом бутылке, их не прислали в конверте без обратного адреса. Козлевич получил рукопись при совершенно обычных обстоятельствах. Эти записки девятнадцать лет назад в пьяном виде передал Козлевичу друг его юности, Вова Ложкин. Никто никогда не относился всерьез к каракулям желтолицего, к двадцати годам спившегося Вовы, который не знал запятых и часто употреблял сочетание «если б». И Козлевич вроде не относился. Но он девятнадцать лет хранил папку, привез ее в Израиль, и сейчас закрыл усталые от чтения слепой рукописи глаза, и увидел мерцающий, пунктирный очерк будущей повести.

Ложкин писал эссе, реже – сюжетные отрывки о юной жизни. Надо было построить из них связную вещь. Козлевич, по образцованию проектировщик мостов и туннелей, не испугался. Какие-то куски он соединил аккуратным мостиком, где-то прорыл туннель.

Многого не хватало. Строилось гораздо сложнее, чем соединялось: Ложкин был мыслитель, Козлевич – всего лишь стилист, а писать приходилось под Ложкина. Ложкин был (якобы) человек из народа. Козлевич, интеллигент и еврей, считал его настоящим, а себя – нет. Видя, что стилизация выходит грубо, Козлевич начал заменять тексты Ложкина своими. Его постройки стали теснить ложкинские, и в готовом виде повесть походила на лондонскую улицу, куда туристов водят смотреть семнадцатый век, хотя домов семнадцатого века осталось пять и их узкие, породистые фасады стиснуты широкими и безликими домами девятнадцатого, как парусники льдами.

Доведа текст до неплохой однородности, Козлевич стал думать, куда бы его пристроить. Ему показалось, что написанное о России лучше в России и печатать.

6

Давно прошли времена, когда голодные российские издатели за двести долларов тискали любую залепаху. Казалось, все тени эмигрантских творцов, бросившиеся в Россию после перестройки, уже успели посидеть на развалинах тех мест, куда их когда-то не пустили. Однако слабое движение еще продолжалось. На Приозерском слете авторской песни бард Сергей Гурништкантор, в джинсах и жилетке с карманами, исполнял, прислонившись к сосне, шуточную песню «Пельмени», написанную им в 73-м году в штате Небраска, а журнал «Нева» тихо возвещал, что он рад представить читателям повесть австралийского писателя Аркадия Женина, начинавшего свой путь в ленинградском ЛИТО «Дарование».

Голос Козлевича влился в этот шелест. Помогла двоюродная тетя, редактор «Химиздата». Рассказов Козлевича на израильские темы она не понимала, а вот повесть племянника о ленинградской юности переслала знакомому главреду, о чем удивленный Козлевич узнал из письма, в котором редактор без «здрасьте» и других отживших предисловий предложил подписать договор. Козлевич подписал бы не глядя, но... Нужно было получить согласие Ложкина на публикацию. Иначе Козлевич выходил вором.

Прямо уж вором? Если так – многовато воров среди писателей. Иной как муравей – что ни увидит: былинку ли, одеревеневшую ли

божью коровку, листик какой – все тащит в свою норку. В муравейник мировой литературы. Читаешь потом и обогащаешься: тут тебе и точные науки, и история с философией, и чужие стихи рассыпью. Интереснейший дайджест.

Допустим. Но что для писателя главное? Почва. У кого писатель учится? У почвы. А почва ведь вся из бывших камней, из мертвых ящериц, из перегнившей осоки и кашки. Выходит, земля – воровка?! Земля – мать наша! А если так – Козлевич не вор, а хранитель. Талант без характера – как боеголовка без ракеты. Только подорвешься. А человек с характером поднимет с пола чужой талантливый набросок, отшлифует, пристроит в печать как свой и скажет мысленно: «Это я на первый раз, чтобы имя сделать, чужое взял, а как сделаю имя – буду печатать только собственное».

Убедительно. Но Козлевич думал, что он – из иного теста. Он уселся перед ящиком шайтана и, запустив руки во всемирную паутину, чихая и брезгливо стряхивая на пол мертвых мух, начал искать Ложкина.

7

Разыскивая Ложкина, Козлевич понял, что:

1. В интернете есть все, кроме того, что ты ищешь.

2. Информация делится на известную всем и неизвестную никому. Нет такого: кто-нибудь да знает. Или знают все, или не знает никто.

Жившие в Питере родители Козлевича наотрез отказались искать Ложкина, с которым их сын тридцать лет назад пил и играл в карты.

Не помогли и виртуальные одноклассники. Школьных товарищей искали в основном жители Торонто и Гамбурга. Ни Любарский из Твери, ни Серов из Буркина-Фасо не могли сообщить о Ложкине ничего. Андрей Простов из Питера ответил: «О ребятах знаю только, что Уланенков вроде опять сидит».

Уланенков, конечно, ведал судьбу Ложкина. Козлевич запросил базу данных исправительно-трудовых учреждений России, но вовремя сообразил, что, даже если все российские зоны компьютеризованы, Уланенкова, серьезного платного, к экрану, что наверняка в кабинете начальника, не подтащишь.

Козлевич нашел было Ложкина во сне, где они стояли на улице, у витрины супермаркета, и собирались делать то, что делали всегда – пить. Козлевич видел Ложкина бомжом, а себя – состоятельным иностранцем, но, чтобы не обижать и не раздражать бедного друга, пытался свою обеспеченность скрыть и косил под бедняка.

– По положению я предприниматель, – с униженной улыбкой говорил он.

– А по достатку? – грубо и ревниво спрашивал Ложкин.

– По достатку – люмпен, – врал Козлевич, улыбаясь еще более искательно, после чего Ложкин презрительно отворачивался и уходил.

Во сне Козлевич не смог попросить у Ложкина разрешения опубликовать записки, потому что оба они были безвольными призраками, вроде ангелов, и слова диктовал им хозяин сна.

Козлевич искал и находил Ложкина в памяти: на дневных сеансах индийских фильмов «Санганг» и «Рам и Шиам», на заднем,

горячем от мотора сидении шестьдесят седьмого автобуса, в парадном, это был тот Ложкин, которого он знал, но его нельзя было ни о чем спросить.

Искать информацию о нем было бесполезно, как о белке или лосе.

«Извините, – отвечала телефонная книга Санкт-Петербурга на запрос о Владимире Сергеевиче Ложкине, – такого абонента в базе данных нет».

Оставалось поехать туда, где на кустах, как талый снег, белеют ягоды морозко, где окно пятого этажа почти заслонено кленовой листвой, где на ухабистом пустыре бессрочной стройки стоят деревянные ворота, и попробовать Ложкина встретить. Если же он и Козлевич не слишком разбухли от долгого пребывания в реке времени и узнают друг друга, у Ложкина можно будет спросить, согласен ли он на публикацию их книги.

8

Клены за окном такие высокие, что все в комнате и на улице происходит на фоне веток и листьев. На фоне листьев горит на стекле окна двусветная люстра, между черными ветками краснеет тормозной огонь далекой машины. За последнюю неделю зеленый и коричневый цвета ушли из кленовых крон. На ветках осталась почти чистая матовая желтизна. Бурый, зеленый, коричневый, красный теперь на земле. Глаз ищет в толще опавших листьев направление, долю.

Направление есть у ткани, бумаги, дерева, кожи, у мяса. Есть направление у дождя, горных пород, осмысленной речи, у цветущего луга, у пашни. Козлевич вспомнил, как весной, спускаясь с горы, заметил, что цветы на заросших ступенях склона не просто цветут, а спускаются вместе с ним. Желтые ромашки, белые ромашки, круглые розовые медальончики прерывистыми рядами двигались к подножью. А внизу, между масличных деревьев, цветы сурепки в пояс высотой шли на длинных ходулях своих стеблей вдоль террас, и, пойманный их шествием, окуренный их пылью, Козлевич шел и шел, хрустя, не замечая ни ржавой проволоки, ни упавших штакетин, глядя под ноги, где на фоне черной земли остро белели звезды птицемлечников.

Направление есть у всего. Даже у железа есть доля: направление проката. Кленовые листья на газоне валяются остриями во все стороны, и все же чувствуются в покрытом ими пространстве едва заметные долевые полосы. И чем четче тени, тем виднее доли лиственного покрова – тонкие тени кленовых стволов.

9

Козлевич открывает замок первой двери, громко отпирает вторую дверь и выходит на лестницу. Они с домом почти ровесники. Дому исполнилось сорок пять. Ступеньки лестницы оплелись. Бетон в середине их протерся, виден темный металл. На втором этаже около белой двери стоят стремянка и велосипед. За дверью звонит телефон. Каждый звонок начинается обычным телефонным и обрывает-

ся в дребезг велосипедного. Кто будет столько ждать? Давно бы положили трубку. Может, это современный вид кукушки? Козлевич останавливается и, наивно радуясь тому, как долго ему осталось жить, считает звонки... На двадцать третьем дребезге становится ясно, что телефон так и будет звонить, и все будущие годы, что он себе насчитал, можно сбросить и спускаться дальше.

Козлевич выходит из парадного, медленно огибает газон и смотрит, как серый голубь шустро взлетает навстречу вялым штопором падающему кленовому листу. Он слушает вопли из окна пятого, что ли, этажа. Забор детского сада, вдоль которого он идет, изгиб этого забора знаком его глазу, как ручка домашнего кресла знакома руке. Над входом все тот же барельеф: гусь, собака, слон и петух. Козлевич вспоминает слова сумасшедшего Шницерова, что люди на этом свете – как дети в детском саду, сидят и ждут, что за ними наконец придут родители и заберут их домой. За детским садом – кварталчик хрущевских пятиэтажек. Деревья во дворе переросли дома и превратили двор в тенистый парк. Вот горка и карусель. За хрущевскими домами должен быть пустырь вечной стройки, за ним – ложкинский дом. Но пустыря нет. Есть газон. На газоне стоит церковь с пятью куполами и широкая, белая, в ограде с воротами, многоэтажка. Дома, где жил Ложкин, нет. Есть жилая башня, ограда, зеленый газон, черный «БМВ» и мужик лет тридцати, который быстро идет к воротам, нервно говоря в мобильник. А дома нет.

Козлевич садится на ближайшую скамейку, достает папку с текстом и читает.

ПОВЕСТЬ

1. По утрам

Только по утрам я еще сохраняю какую-то ясность в голове. Пока я выхожу из дому, еду в автобусе на работу, все видится мне в натуральную величину, я становлюсь наблюдательным, мысль моя работает стремительно и ясно, движения расчетливы, слова взвешенны. Не знаю, отчего так. Видно, есть во мне какой-то чертенок, который любит поспать больше меня, и, пока он не проснулся, все кажется ясным, светлым, понятным. В автобусе, в деловой, спокойной толкотне я, кажется, по одному виду понимаю, какое у кого настроение, о чем думает вон тот молодой человек, вот эта женщина с блестящим обручальным кольцом.

Какое-то детское любопытство вновь просыпается во мне, и я впитываю в себя особенно сильно именно эти первые минуты моего дня. Потом уже, когда проснулся чертенок и день, раскручиваясь, катит к заходу, если я и вспоминаю все, что видел, то только с самим собой на переднем плане. Мне уже неинтересно, как и что было, меня лишь интересует, как я об этом расскажу тому или этому человеку. Меня одолевает забота: а что я сделал, а что я мог бы сделать, а что я еще могу сделать. Я встречаю товарищей по работе, а чертенок уже тут. Расскажи им что-нибудь интересное, покажись таким-то и таким-то.

И я начинаю плясать под его дудку и пляшу под нее весь день.

Вслед за этим чертенком прибывают еще чертенята помельче. Их становится все больше и больше, каждый из них тянет в свою сторону. И я, не зная, что делать, бросаюсь к первому за помощью. Потому что сонм чертенят уже заслонил от меня все, и не к кому обратиться за помощью. И старший чертенок говорит мне: «Выпей, и я наберусь сил и всех прогоню!», и я выпиваю, и чертенок становится чертом и действительно всех прогоняет. Все становится чертовски ясно и просто. Слушай лишь черта, и все.

2. Тонин халат

Парковым рабочим не выдавали спецодежды, только пару рукавиц. Когда меня принимали на работу, мастер сказала директору:

– Пока Тоня работает, ему в бригаде особо делать нечего.

– Ну, – ответил директор, – сколько она может проработать...

Тоня казалась обычной женщиной лет сорока пяти. На работе она носила бежевый брезентовый халат, вышитый крупными крестиками на груди и карманах. Тоня быстро, не прерываясь ни на минуту, гребла листья финскими граблями; когда с ней заговаривали, кивала и поддакивала каждому слову, и лицо ее было лакировано чем-то вроде улыбки. Если бы мне не рассказали, что она больная, я, может, ничего бы и не заметил, но мне рассказали, и я увидел, что Тонин взгляд ни на чем не задерживается, а все как будто соскальзывает с вещи или с лица, на которое Тоня смотрит.

И гребла она уж слишком быстро. А так – тетка как тетка, ходит с Васильевной в пирожковую, я уж подумал: мало ли чего наговаривают, но настал день, когда Тоня прислонила грабли к стволу березы и начала хватать и стряхивать, хватать в воздухе и отбрасывать невидимых и отрывисто говорить, глядя на них. Она ходила по аллее как привязанная: несколько шагов туда – несколько шагов обратно, все быстрее стряхивала невидимых, и сквозь твердое, лакированное радушие ее лица начало проступать другое. Как будто невидимые, несмотря на Тонино сопротивление, прорывались в дом ее головы и уже смотрели из окон.

Васильевна постояла, поглядела на Тоню с грустным пониманием, с каким русские старухи смотрят на пропащих, потрясла чуть заметно головой, прислонила грабли к стволу тополя и пошла в контору.

Тоню забрали, и мне достался ее халат. Халат пришелся мне в пору и очень нравился. Вышивка придавала ему что-то алеутское.

Без Тони работы стало больше, но Васильевна почему-то не хотела, чтобы я работал с бригадой, и посылала меня грести листья на границу участка. Наш участок был в самой глубине парка, далеко от проспекта. По утрам в будние дни по аллеям почти никто не ходит. Я греб желтые листья упругими финскими граблями. Заграничное сразу считается у нас лучше советского, возьми хоть финскую колбасу. Все на нее кидаются, а докторская ведь лучше. Набери сучков и хрящей, закопти – вот тебе и финская колбаса. То же с граблями. Финскими граблями, хоть они легкие и красивые, хуже работать, чем нашими дубовыми. Финские скользят и плохо захватывают лист. Невольно делаешь много лишних торопливых

движений. Говорят, физическая работа на свежем воздухе успокаивает, я же, наоборот, все больше и больше впадал от этой гребли в беспокойство. Мысли крутились в голове все быстрее. Если бы прошел какой-нибудь знакомый и своим разговором хоть на десять минут, как за руку, вытащил бы меня из водоворота мыслей, я бы отдохнул, но знакомые не приходили, даже случайные прохожие не проходили мимо меня, а мелькали вдалеке между деревьев и кустов, как движущиеся темные кучки. Только один человек прошел совсем рядом.

Я стоял к нему спиной и обернулся, услышав шорох его шагов.

Прохожий в плаще, шляпе и с портфелем узнал меня и остановился. Это был учитель математики. Когда-то он пришел в нашу школу из математической, которую кончал мой брат. Пришел доказать, что обычные дети могут достичь того же, что отборные.

Обычные дети? Даже в нашем девятом классе были такие типы, как Прохор, Валера и Уланенков, а в восьмом, где математик стал классным руководителем, переросток Тихон из колонии получивал дна школьном материале дружка Силю, как надо жить на зоне, восемь гопников со станции Предпортовой буйно ждали, когда их отпустят в ПТУ, и сирота Гольдин, что-то среднее между обезьяной и черной лилией, то застывал, блестя выпуклым глазом и цыганским волосом, то с хохотом летал по классу, а когда особенно скучал, лез под парту, доставал из портфеля кларнет и резал спертый воздух длинной, тонкой трелью.

Математик восхищался сумасшедшим Гольдиным: «Зато как он играет на рояле! Как он играет на кларнете! Как у него развита речь!» С блатными он установил уважительный нейтралитет и убедил Данцева, вождя предпортовских, что у того математический талант.

В нашем классе математик должен был – и, конечно, не мог – просто преподавать математику. Он задавал нам безумные задачи на три пятерки – одну я почти решил; как-то принес магнитофон и сорок пять минут вместо урока слушал с нами Окуджаву, а потом поднял указательный палец и произнес: «Запомните, дети, это очень важно: „Но из грехов нашей родины вечной не сотворить бы кумира себе“».

Учителя в школе одевались как попало. Только математик всегда белел жестким, с разрезом темного галстука, воротником рубашки, а запонки на его манжетах играли в пыльном луче то тусклым золотом, то красноватым камнем. Он и ругался глубоким своим баритоном необыкновенно: «Вы некультурный, неинтеллигентный человек!» – и смотрел глубоко, как актер. Но взгляд актера выражает роль. Глубокий же взгляд математика был непонятен, как иероглиф. Может, это был взгляд актера, роль которого по ходу пьесы все время меняется? И фразы, если он хотел сказать ученику личное, были не до конца понятны и сильнее действовали, потому что ты пытался их разгадать и невольно запоминал и уважал: непонятное – значит умное...

Рядом с его классом висела стенгазета под названием «Предикат».

Словом, математик все время показывал, что есть нечто более высокое, чем наша обычная жизнь, и хотел, чтобы мы к этому вы-

сокому тянулись. Как-то на вечере толстая Хайкина из параллельного, которая всегда все знала, заявила: «Ваш Ананьич – псих. Он живет один, а нормальный мужик не может без бабы». Никто даже отвечать не стал. При чем тут нормальные мужики? Математик в нашей школе – как запонка с красным камнем в кучке мусора. С другой стороны, как нам дотянуться до его высокой жизни? Не могли же мы слушать Окуджаву и каждый вечер гладить на завтра белые рубашки. А к родине мы и так относились нормально, и никто об ее грехах особо не думал. Мне, как и всем, хотелось ему нравиться, хотелось, чтобы он меня замечал. Я думал: может, начать учить математику? Но математик был приветлив и с теми, кто математику не учил. Было видно, что Прохор для него вычеркнутый, Козлевич – любимый. А я? Есть в сердце моей памяти, рядом с песней «Пенни Лейн» и весенним вечером, когда мы первый раз играли с девками в картошку, две неразгаданные фразы, что математик сказал мне в начале девятого класса. Что за фразы? Да неважно. Важно, что в них была надежда.

Прошло три года. И вот мы встретились. Учитель повернул ко мне свое узкое лицо, не изменив направления тела, сощурил глаза и недовольно спросил:

– Что вы здесь делаете?!

– Работаю.

Он медленным гневным взглядом обвел мои резиновые сапоги, финские грабли у меня в руке, Тонин халат с дикими вышивками и внятно проговорил:

– Очень жаль, что мы не сумели привить вам любовь к умственному труду.

Сказал, вернул лицу направление прерванного движения и пошел восвояси.

Потом мне все хотелось прокрутить время назад, вернуться в наш разговор и объяснить, что я не самый плохой: кто-то моет пробирки, кто-то плавает матросом, Уланенков вообще сидит за грабеж. А по вечерам, когда не пьяный, я пишу! Тут же я себя утешал, дескать, было в этом разговоре и лестное: математик думал, что я способен на большее, чем работать граблями.

Но это потом. А тогда я смотрел, как он уходит по аллее. Газоны, сколько я ни греб, вспухали желтыми листьями. Почти облетевшие деревья гладко чернели. Уходящий математик казался не движущейся кучкой, как остальные прохожие, а одним из деревьев. У него, как у дерева, было направление. Он уходил, высокий, в темном плаще и шляпе, и портфель его не качался при ходьбе, а странно плыл рядом с ним. Математик долго сохранялся на желтом, потом повернул на перекрестную аллею и исчез. А я снял Тонин халат и рукавицы, подхватил грабли и пошел в контору увольняться.

3. Новенький

– Простова, Прохоров, Родзянко, Смулевич, – физичка слегка запнулась на фамилии новенького.

– Козлевич! – крикнул Прохор.

– Прохоров, выйди из класса! Прохоров! Выйди вон из класса! Выйди из класса!

Звонок. Мы вырывались из класса. Прохор ждал в коридоре.

– Козлевич! – окликнул он новенького.

Козлевич улыбнулся.

Занесенная для плюхи страшная, быстрая рука Прохора застыла в воздухе и, секунду помедлив, смазала по затылку проходящего второклассника. Так Прохор дал новичку имя.

Семья Козлевича три раза переезжала из города в город. Козлевич три раза менял школу. Коты, заключенные и дети платят кровью за право жить на новом месте, но Козлевича у нас почему-то не били. Он прижился, как будто учился здесь с первого класса.

И все же Козлевич пришел уже после детства. Он не лазил с нами в дзоты, где в самом глубоком, темном месте – Прохор видел – лежит скелет фашиста. Козлевич не крался мимо огромных чанов заброшенного красильного завода, не забирался на недостроенный двадцатидвухэтажный дом: на крыше нас с Простовым и Уланенковым застал мужик и каждому сбегавшему мимо него по лестнице страшно засветил по затылку.

Козлевич не скользил на плотях по залитому водой котловану за школой. В этом котловане по торчавшей руке нашли тело одной пятиклассницы. Он не карабкался по лифтовой решетке на чердак, замирая от крика соседки: «А вот я твоему отцу расскажу, куда ты лазаешь!»

Его не исключали из пионеров за порнографические открытки.

Козлевич никогда не бывал на Тайной Железной Дороге. Да и те, кто вырос в нашем районе, не бывали. Я никого туда не брал. Я хотел, чтобы это место было только моим. Правда, один раз, когда приехала троюродная сестра из Свердловска, я взял ее с собой.

4. Т. Ж. Д.

Тайная Железная Дорога начинается во дворе, за гаражами, настолько ржавыми и страшными, что непонятно, какие машины в них стоят. На ржавых воротах не видно замков, створки их как будто срослись в одну корявую рыжую поверхность. Из асфальта перед средним гаражом растет и, загибаясь прямо над его крышей, уходит в глубь двора покрытая толстой корой труба.

Это тупик. Но если обойти гаражи справа, среди кустов открывается неширокий проход, нога неожиданно тыкается в шпалу, и ты сначала чувствуешь, а потом видишь рельсы и слышишь под ногой гальку. Или щебень? Щебень.

Шпалы уже поймали тебя, ты идешь в ритме шпал. На них приятно наступать, но они положены слишком часто, расстояние между ними не кратно шагу, это стреноживает. Между шпал насыпаны обломки гранита, их пасмурный цвет молодой, как у гальки на линии прибоя. Поднимаешь голову – уже шоссе выросло справа, за ним – кирпичный забор, за забором – многоэтажный старый завод. Из разбитых стекол верхних этажей поднимается редкий белый пар. А слева – кусты, слева до конца будут кусты. Шоссе совсем пустое, длинный фургон с немецкой надписью на боку стоит у обочины. Через дорогу – одинокий, как белый гриб, двухэтажный дом с полуколоннами. Управление фабрики?

Гравий сменяется мхом, шпалы уходят в мох. Идти легче.

Вот стрелка. Я изо всех сил жму на молоток. Стрелка не поддается.

Я говорю себе, что видел дом с полуколоннами. Здесь была проходная и контора хладокомбината. На путях стояли вагоны, их грузили коробками с фруктовым мороженым.

– У вас на Урале все такие спокойные?

– Нет, не все.

– А фруктовое мороженое у вас есть?

– Есть.

Тайная Железная Дорога – река страны кустов. Кусты осенью пассивнее деревьев. Кусты не говорят золотом. Кусты выступают смутным хором, прячутся друг за друга. Мрачная зелень, жухлая желтизна, побежалость – осенние их цвета.

Опять стрелка. И вдруг – улица. Не улица домов, а улица серых кирпичных заборов, но все же: тротуары, свист черных машин по двухполосному шоссе. Путь по рельсам перекрыт железным ограждением, сами рельсы почти утонули в асфальте, но, перебегая шоссе в легком страхе перед летящими не сбавляя хода стальными призраками, мы остаемся в Тайной Железной Дороге. Только одна реальная вещь есть на улице: собака. Темная собака лаечно-го типа стоит на тротуаре у рельсов и движется на месте, как привязанная. Откуда она пришла, не с железной же дороги?

– Здесь вообще кто-нибудь ходит?

– Ходят. Живут даже. Вон там, под дальним мостом, матрасы лежат.

Под дальним мостом. На железной дороге, как на воде, расстояние неопределимо. Кусты теперь с обеих сторон, ничего кроме кустов не видно, и не сразу осознаешь звук – звук поезда. Что на железной дороге естественнее стука колес? Это стук колес с пока не видной нам явной железной дороги. Две дороги либо будут параллельны друг другу всегда, либо разойдутся или сольются. Можно об этом узнать, а можно и не узнать: место плоское, кусты справа слились в высокую чашу. Неожиданно из них выступает черный базальтовый полухолм-полуторс – остатки крепостной башни или бык уничтоженного моста.

– Что это?

– Сейчас увидишь.

Мы взбираемся по насыпи и действительно видим. Мы видим явную железную дорогу, закопченные дворцы заводов за ней.

Видим грузовой состав, вагонетки и копры, ржавые вагоны с надписью «Транспортная компания» на боках. Каждая пара вагонных колес стучит на стрелке сдвоенным стуком: тук-тук, здесь-там.

Вагоны идут туда, где Тайная Железная Дорога сливается с явной.

Это место, должно быть, где-то за мостом, но его отсюда не видно.

Видна только освещенная, несмотря на пасмурный день, эстакада и болтающийся под ней провод или трос.

Оттуда дует сырой ветер, и огрызок свечи на камне не хочет разгораться. Я ставлю свечу в ущербину кладки и иду собирать каменные обломки, чтобы построить вокруг свечи заборчик.

Но камней до странного мало. Вокруг высокие сухие кусты малины с мелкими сюрпризами ягод.

Я возвращаюсь. В майонезной баночке горит свеча. На камне, в чашечке термоса что-то темное. Пар.

– Что это?

– Чай с вареньем.

5. Кумир

На берегу ночной реки темно, но не совсем. Бесформенные плакучие ивы видны по трепету листьев. Неподвижно черна в дрожащей от речного ветра колосающейся траве дорожка к воде. В свете далекого прожектора торчат колья сломанной беседки на том берегу. Черная тревога между берегами. Самой воды не видно. Видна только борозда на воде от прибрежной коряги. Или от железяки, от водоворота, от чего там. Купаться страшно, но мы и не купаться сюда пришли. Горлышко бутылки отсвечивает зеленым. Запах вина, похожий на запах чистого погреба, поднимается, как легкий ветер от невидимой реки. стакан у нас один. Пока вино льется в стакан, не видно, сколько его налито. Поднявшись до краев, вино выпукло блестит. Я выпиваю, как будто глубоко вдыхаю. Ничего трудного. Давай, теперь ты. А через минуту – время уже сжалось – вино опять незримо растет в стакане и блестит. Пустая бутылка поло стукается о натоптанную дорожку. Мы раздеваемся, не чувствуя ветра. Вру, тело как раз чувствует ветер, как кайфово ветер освежает. Мы бросаемся в реку. Это объятие. Каждую секунду мы с течением обнимаем, сжимаем, толкаем друг друга. Плыть не только не страшно. Плыть можно сколько угодно. Руки не устают. Можно доплыть до другого берега, добежать до другой реки, переплыть и ее. Можно побежать на запад и переплыть Двину, Вислу и Рейн. Рвануть на восток и переплыть Амударью, Тигр, Инд и Ганг. Мы вылезаем на берег. Мы ищем одежду.

Я пил вино дома, когда приходили гости. Я отпивал ликер из черной фарфоровой бутылочки. Но это первая бутылка, которую мы с Козлевиным купили сами. Не помню первого поцелуя. А это помню. В Библии сказано: не сотвори себе кумира. Кумир – это эрзац-бог. Бог дает силу, смелость, счастье. Кумир тоже ненадолго может. Ни Джон Леннон, которому поклоняется Козлевич, ни Достоевский, который писал про меня, не кумиры. Они не сделают тебя счастливым, сильным, смелым. А вино на пятнадцать минут сделает. Всегда, когда захочешь. А хотеть ты будешь всегда. Вино – это и есть кумир. Мы сотворили себе кумира. В Библии сказано про вино.

6. Каждый охотник желает знать

Теплым синим днем, который оторвался от будущих летних каникул, растолкал школьные дни и встал в их серый строй, сквозь пыльное стекло в кабинет физики проникла весть: в «Московском» за шестьдесят копеек дают сорокопятку «Битлз». Весть летала по классу зигзагом. Валера пробурчал ее Родзянко, Родзянко – Простову, Простов – Козлевику. Я прочел весть в записке, которую, толкнув в плечо, передал мне сзади Простов.

На физике всегда было тихо. Физичка на сорок пять минут погружала нас в вату. Я выключал звук и просто спал с открытыми глазами. Но тут, вострепнувшись от записки, я услышал стук мела и прочел на доске: «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ ГДЕ СИДИТ ФАЗАН».

Я не стал думать, что это означает. Я обернулся к Козлевичу. Это он прислал записку про «Битлз». Мы в классе особо не показывали нашу дружбу, просто весть была слишком важной. Надо где-то взять шестьдесят копеек и после урока лететь в «Московский». Хорошая вещь на прилавке не залежится. Я обернулся к Козлевичу и спросил:

– У тебя есть шестьдесят копеек?

У меня сегодня не было.

– Ложкин! – крикнула физичка. – Встань! Что я написала?

– Каждый охотник желает знать где сидит фазан.

– Что это значит?!

Я молчал.

– Арсюкова! Что я написала?

– Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Формула радуги.

– Не радуги, а спектра! Садись.

После физики мы закинули портфели к Козлевичу и побежали в «Московский» через дюны. Козлевич сжимал в кулаке, в кармане, три монеты по двадцать копеек.

Пустырь между школой и улицей Орджоникидзе завален горами песка и щебня. Никто не огородил песок забором. Его просто навезли и забыли. Осенью песок превращается в грязь, зимой – в заснеженный камень, в скалы, на которые можно карабкаться, а потом спрыгивать с них, опираясь о лед ладонями. В апреле горы опять становятся дюнами.

Мы с Козлевичем шли в «Московский» универмаг через дюны не только потому, что быстрее. Дюны лучше, чем улица, подходили к синему дню, обрывку скорого лета. Из дюн не видно ни школы, ни домов, а только морское небо, особенно если вместе со струйкой песка съедешь с холма или столкнешь друг друга и лежишь на песке, как мы.

– Ну-ка быстро по двадцать копеек!

Львов в дюнах нет, но есть шакалы. Двое стоят над нами. Они, как и мы, в синей школьной форме, только какой-то вытертой, будто они ходили в ней всю жизнь и спали в ней. Не старше нас. Не выше нас. Но они стоят, а мы сидим на песке. И они давят нас, как жука сапогом, своей спокойной, властной, наработанной манерой. Манерой, показывающей их право грабить и требующей огромной, не нашей воли, чтобы начать сопротивляться, чтобы просто встать, а не протянуть им сидя, как протянул Козлевич, две монеты по двадцать копеек.

Ку-ку, «Битлз».

Шакалы скрылись за дюной, а мы сидим. Козлевич встал первый. Отряхнулся.

– Пошли!

– Чего ты отдал-то? – спрашиваю я его, будто сам бы не отдал.

– Вставай, пошли, – тянет меня Козлевич. Он хочет сорокопятку «Битлз». – Возьмем деньги и вернемся!

– Где ты возьмешь-то? В продленку пойдешь, октябрят трясти? Так они тебя сами обтрясут.

– Вставай, пошли к тебе, – Козлевич поднимает меня за руку. – Вдруг твоя мать дома. Попросишь у нее!

Мать и правда еще дома. Уже оделась и нарядилась, собирается в вечернюю смену. Говорит отстраненно:

– Ты ел? Купи докторской, молока, булки, – и протягивает бумажный рубль с оторванным кончиком

Беру бидон (спрячу за скамейкой, скажу, что молока не было). Козлевич ждет на скамейке, внизу, но он не один.

С ним Прохор и Уланенков. Уланенков плюет тягучей слюной на свой окурочок. Прохор постукивает костяшками сжатого кулака по доске скамейки. «Битлз» им не нужны, куда идти, пофиг. Танцев нет, драки нет. В «Московский» так в «Московский».

Козлевич хочет идти проспектом, но я тащу всех через дюны. Вдруг шакалы еще там? На песке между холмами – тени. Я кричу:

– Суки, идите сюда быстро! Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!

– Козлевич, – вяло говорит Прохор, – твой б... друг перегрелся.

В дюнах пусто. И в «Московском», в отделе пластинок – пусто. Наверное, про «Битлз» никто не знает. Мы со всех сторон прикрываем Козлевича, когда он дает продавщице чек и говорит почти шепотом, со значением, как пароль:

– «Битлз», пожалуйста.

Пластинка тонкая, синяя, хлипкая.

– Куда пойдём-то?

– Пошли ко мне слушать. Мать уже ушла!

Я опять веду всех через дюны. В дюнах – никого. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В дюнах все понятнее, чем на улице. Есть только тишина и звук. Желтый песок и черная тень. Охотник и фазан. Либо ты трясешь, либо тебя трясут. Ты или отбираешь, или отдаешь. Я не хочу отдавать. Придется всюду ходить с Прохором и Уланенковым. Я не хочу отбирать. Придется хватать друзей за руки, когда они начнут кого-нибудь грабить.

У меня дома все снимают ботинки.

– Прохор, надевай тапки!

Адаптер Сашкиного проигрывателя прыгает, когда мы ставим сорокопятку и скачем по комнате.

– Козлевич, про что они поют?

– Что?! – Козлевич не слышит нас, он слышит только «Битлз».

– Что такое кэнбамилав лав?

– Любовь нельзя купить.

– А кто-то думает, что можно?

Скоро первое мая. Мы пойдём на демонстрацию вчетвером. И в Белый зал пойдём вчетвером. Мы теперь всюду будем ходить вчетвером или впятером, шоблой.

7. Трудоустройство

Я редко бывал в этом кафе. Кафе располагалось в самом центре. Наверное, этим оно и привлекало. Я ведь вырос и жил на окраине, все центровое казалось нам хорошим. Про кафе говори-

ли, что там собирается весь город. Я и подумал: там, где собирается весь город, найдется кто-нибудь, кто сможет мне помочь. Трудно сказать, в чем должна была заключаться эта помощь. Вряд ли то, чего мне не хватало, можно было найти за столиком в кафе. Я, например, нигде не работал и не мог устроиться, но если бы я стал просить стоявших за столиками людей устроить меня на работу, то меня, скорее всего, быстро бы забрали.

Я взял кофе и корзиночку. Здесь наливали коньяк. Но на коньяк у меня не было. Выпить я всегда смогу вечером, а в кафе специально пришел днем.

В длинный узкий зал попадали из предбанника, и каждый входивший с улицы поднимал голову и вглядывался, невольно ища знакомых, а потом либо приветственно махал рукой, либо пристыжено голову опускал. Так сделал и я, хотя какие у меня в центре могли быть знакомые.

Стоя за мраморным столиком, я исподволь оглядывался, пытаюсь отгадать, кто же все эти люди вокруг. Говорили, что здесь встречаются художники, музыканты, поэты, фарцовщики.

Но не станешь же спрашивать, а по костюму можно догадаться не всегда. И эта невозможность узнать, что за знаменитость стоит рядом с тобой с чашкой кофе в руке, усиливала одиночество. В то же время я понимал, зачем сюда приходят те, кто никого здесь не знает: почувствовать себя хоть как-то причастными к важным кругам и просто побыть двадцать минут не такими одинокими: все-таки люди в кафе чуть-чуть ближе друг другу, чем прохожие на Невском.

Полковник рядом со мной допил кофе, надел папаху и двинулся к выходу. Его место заняла женщина в платке, с красным лицом и выпученными глазами.

– Надо давление сбивать, а я кофе пью, – обратилась она к оконному стеклу, – одной тяжелее ждть. Пока внучка была со мной, я легче все переносила. Теперь эта отдала ее в санаторий «Малютка», сидит в своей комнате и курит. Сколько можно курить? Вот ты скажи: нормальная молодая женщина может не работать, ничего не делать, сдать ребенка в санаторий «Малютка», купить огромную меховую шапку, сидеть целыми днями в этой шапке и курить? Я пытаюсь его знакомить с интеллигентными девочками, но Лесик же другого типа, он человек искусства, интеллект ему не нужен. Ему нужно, чтобы женщина была большая, сладкая. Привел эту, ей еще восемнадцати не было. Теперь он в армии, а она продала все его вещи, купила себе огромную пыжиковую шапку, сидит в этой шапке и курит, как я догадываюсь, не только сигареты. Ты похож на Лесика, только Лесик красивый, у него ноги длинные. И ты какой-то весь красный. Ты что, пьешь? Это большая глупость. Из-за водки я потеряла второго мужа, отличного парня. Работал сменным мастером. Умер у меня на руках от цирроза печени. Лесик тоже иногда выпьет водки с приятелями, придет домой и стонет: «Ой, мама, сейчас умру», а я ему кладу на голову мокрое полотенце и говорю: «Как ты не понимаешь, что у тебя другие гены, другие?!» Теперь он в Венгрии. Еще год остался. Ты сможешь мне донести посылку до почтамта? Ну, пошли. Мне нельзя поднимать: давление. Главное, Лесик храбрый оказался: стрелял там, гранатки кидал. Я тебя могу устроить в фотолабораторию, лаборантом. У меня

старый товарищ заведующий лабораторией на Кировском заводе. Уметь ничего не надо, всему на месте научат. Я и сына бы туда устроила, но Лесик всегда был дикий кот: либо на ударной установке стучать, либо в такси. Сегодня поговорю с Мишей, а ты завтра подъедешь к восьми прямо в проходную, позвонишь в лабораторию и попросишь Михаила Яковлевича. У него трагедия: единственный сын, десять лет, несвертываемость крови. Все, ты мне помог. Завтра можешь подъехать даже не к восьми, а к полдевятому.

Не забудь: станция метро «Кировский завод».

Я, конечно, не верил ни в какую лабораторию. Любой кадровик, заглянув в мою трудовую, послал бы меня вон, но женщина из кафе так меня заигнотизировала, что назавтра без десяти восемь я подъезжал к нужной станции. Вагон был набит добротнo одетыми людьми, которые если вчера и пили, то только хорошую водку или марочное вино. Лица у всех были в меру сонные и гладкие, если встречалась прыщавая физиономия, то и прыщи были солидные. На «Кировском» двери вагона открылись, и все монолитной струей потекли в сторону эскалатора. Встречный эскалатор был почти пуст. Спускались двое: вохра в шинели, видно, с ночной смены, и старуха-уборщица. Наш поток, в котором не было ни стариков, ни старух, поднялся, толкая двери метро, мы вышли на улицу, но и на улице никто не отделился от строя. Все шагали к подземному переходу. Из подземного перехода было несколько выходов, но строй сытых работников в пальто с меховыми воротниками, в добротных ботинках, пыжиковых шапках и богатых платках неумолимо печатал шаг к пяти высоким дверям проходной. Я осознал строевое эхо наших шагов, понял, что иду со всеми в ногу и уже не могу вырваться. Сейчас меня затянет в этот шатунно-кривошипный механизм – и привет.

В последнюю минуту я заметил, что между выходом из-под земли и заводскими воротами есть полоса тротуара. Я вывернул на нее и минут пять почти бежал не оглядываясь. Потом остановился. Остановился и увидел, что кроме завода в районе есть жизнь. Дома здесь строили пленные немцы – вот и выстроили какую-то полугерманию. Светились окна булочной, на углу стоял человек с овчаркой, а к остановке подъезжал троллейбус, в который я и вскочил.

8

Мы с Козлевичем после школы часто катались на автобусах. Тройка и пятидесятый шли через весь город, с новой окраины на старую, почтенную. На нашей остановке, всего-то третьей по счету, еще можно было занять двойное место. У тебя есть пять копеек? Один из нас бросал в кассу два пятака, другой уже сидел у окна, готовый за свой пятак к просмотру лучшего на свете часового фильма «Город». Фильм был не только объемным. Кадры после двадцати минут начинали пахнуть. От Московских ворот даже зимой, сквозь закрытые окна и жар отопления, разило жженым кофе, в середине Лиговки мыловаренный комбинат пробивал стекло страшным кулаком щелочного смрада, а на Лиговском экваторе, на рельсах, автобус, звякнув, притормаживал, открывая автономную, глубокую область железной дороги, и мы проезжали сквозь запах

поездов, не похожий на запах машин, как не похожа на блестящую финскую куртку тускло-черная железнодорожная шинель.

Проезжая мимо помпезных, с тяжелыми колоннадами, с площадями в виде звезд, сталинских кварталов, мы не видели, а только чувствовали подтекст: Муссолини, стоявшего за Сталиным, и хозяев венецианских палаццо, стоявших за Муссолини. Не дома, казалось, построены здесь вдоль проспекта, а проспект прорублен в толще домов. Все же лишнее снесено и выметено к чертовой матери.

Автобус незаметно пересекал временную границу революции. На Обводном слева виднелся уже тяжелый купол привокзального собора, напротив Фрунзенского универмага – верстовой столб. Площадь Мира, как ее ни переименовывай, оставалась Сенной: местом затрапезным, ареалом современных героев Достоевского, лежалых вещей, сдающих комнаты бабок и низкорослых исполкомовских слесарей, которые рассказывают, выпив с вами на троих, о светлой мечте получить служебную жилплощадь. Район Московского вокзала, похожий на вора в клубном пиджаке и очках в роговой оправе, казался покрытым пылью.

На Невском все было особое, центровое: акварельные стены домов, прохожие с портфелями, склоняющие головы, полные особым центровым знанием, фонтан, высокие окна пирожковой. Даже шпанята в черных вельветовых клешах и белых клетчатых пиджаках казались не такими, как наша окраинная урла. Именно здесь, на Невском, ранняя весна писала светом на стенах домов: «Бог есть любовь».

Часто приходилось уступать место женщинам и старикам. Уступал обычно Козлевич. Тут просмотр почти кончался. Козлевич висел надо мной, и вместо просмотра шел уже какой-то рваный, из реплик, разговор.

В центре мы никогда не выходили. Но и доехать до кольца, досмотреть фильм до конца почему-то не могли. Мы доезжали до Большого проспекта, но никогда не достигали Гавани.

Мы выходили за три остановки до кольца, там, где еще можно было занять двойное место, и ехали домой.

Автобус бывал иногда набит, иногда полупуст, и разные люди ехали в нем, но нас они совершенно не интересовали. Даже те, к кому нас притискивало. Интересное было только за окном. Мы бы предпочли пустой автобус. Ну, не пустой: пустой, чего доброго, сойдет с маршрута, грубо высадит, вильнет муравьиным задом и унесется в парк. Я бы лично предпочел автобус с двумя-тремя пассажирами. Но даже в набитом автобусе ничего обычно не происходило. Пьяный какой-нибудь бубнит, а все мрачно молчат, или заснул, привалившись к стеклу, и добрый человек его безуспешно трясет, чтобы в ментах не проснулся. Только однажды: проезжали Московские ворота. Вдруг с сиденья, что за нами, раздался голос:

– Ой, смотри, еврейчик!

Голос был женский, пьяноватый. Козлевич застыл. Я обернулся. Сзади сидели две девки. Одна улыбалась, другая сказала:

– Да не ты! Я с еврейчиком хочу поговорить.

– Ой, как я люблю еврейчиков!

Козлевич сидел прямой, как спинка стула, вцепившись обеими руками в железки кресла перед собой.

– Хочу за еврейчика выйти! – продолжала девка. – Хочу пиво разливать!

Автобус был набит. Стоящие над нами покачивались плотной стеной. Их глаза неподвижно блестели. Козлевич вскочил и без всяких «простите, разрешите, выходите на следующей?» стал проминаться сквозь живую стену, зажигая недовольством глаза стиснутых, я за ним, тетка рванула у меня по животу полу своего плаща, щеку резанула молния чьей-то куртки. Как всегда в «Икарусе», открылась только одна створка двери. Мы выпали наружу, как новорожденные жирафы.

Был сухой пасмурный осенний день. Мы шли по Московскому проспекту, мимо витрин.

– С-суки, – говорил Козлевич. Он был в новых вельветовых штанах, но не смотрелся в витрины, а только все со сжатыми кулаками выплевывал: – С-суки!

– Козлевич, – сказал я ему, – что ты так волнуешься? Есть вещи, на которые не стоит обращать внимания. Сколько лысого ни называй лысым, он все равно не станет волосатым!

Мы дошли до Фрунзенской и поехали домой на метро. На автобусе Козлевич не захотел.

9

И в сказках, и в Библии старшему брату все вроде полагается, но ничего не достается, а младшему ничего не полагается, а в результате достается все. Иначе говоря, младший брат всегда у старшего выиграет. Только в нашей семье этого не заметно. Мой старший брат всегда выигрывал, а я всегда проигрывал. Может быть, потому что меня всегда совали туда, куда и брата. Если бы младшему брату из сказки вместо кота в сапогах отцовская мельница досталась – не много бы он на ней намолот.

Брат пошел авиамодели клеить – и меня отдали авиамодели клеить. Брат на коньках – и я на коньках. Помню только морозный ветер в лицо и как ноги разъезжались. Потом зло стало брать: почему Сашка может, а я – нет. Сашка пошел борьбой заниматься – и я за ним. Ну, в секции я понял, почему брат выигрывает. Сашка хотел победить. А я хотел только, чтобы тренировка поскорей кончилась. Я был не слабее многих, но пару раз на соревнованиях умудрился принести противнику чистую победу, взлетев в воздух и приземлившись прямо на лопатки. Борьбы здесь не было. Противник при первом захвате убеждался, что прием получится, полминуты топтался и дергал, отвлекая внимание, вызывая потерю равновесия – и мгновенно проводил сотнями часов тренировки отработанный бросок.

Сашка так побеждать не умел. Сашка напрягал скулы, вцеплялся в партнера, давил его, гнул, сопел, в конце концов валился вместе с ним на маты, оскалась от напряжения, тянул на свое колено, разгибал его руку, как намертво проржавевший рычаг, и успевал-таки заболевурить – провести болевой прием.

В секции я понял, что нечего мне на Сашкиной дороге делать. Пошел я с тех пор по своей дороге, а брат – по своей. Он без пяти минут кандидат наук, а я выше грузчика не двинулся, теперь во-

обще бутылки собираю. И что же, выходит, он меня лучше? Любой скажет, что лучше. А я сам-то себя, что, хуже его считаю? Да никогда. Почему же я пишу, что я проиграл, а он выиграл? Потому, что приходит папашин друг-доцент, видит меня и говорит:

– Ну что, гегемон, все гегемонишь? Убил ты своего отца!

А иногда я думаю: может, на мне как на младшем лежит заплата, и пока я его не сниму, ничего у меня не выйдет?

Как-то брат зашел ко мне особенно мрачный, между нашими комнатами уже железная дверь стояла. Брат был в тренировочных штанах и растянутой тельняшке. Он искал выпить.

У меня сидели Прохор и Козлевич. Прохор только что вернулся из магазина.

Я сказал брату:

– Хочешь выпить? Давай поменяемся. Я буду старший брат, а ты младший.

– Ты о...л?!

– Трудно, что ли? Только скажи: я теперь младший брат, а ты – старший. Козлевич с Прохором свидетели. Сразу нальем.

– Тебя заболевурить?!

– Попробуй.

Не прошло и тридцати секунд, как я уже лежу на грязном полу; брат сейчас грамотно проведет болевой прием, и я либо буду хлопать свободной рукой по полу, либо он мне другую руку вынесет из плеча. И вынес бы. Но тут Козлевич бросается на пол. Козлевич кричит Сашке в лицо:

– Пусти его, он пошутил.

Козлевич поднимает меня за руку. Козлевич наливает мне и Сашке, а потом, когда брат уходит, говорит:

– Ты же мне сам объяснял: сколько лысого не называй волосатым, волосатым он не станет.

Так я и остался младшим братом.

10

Мы с Козлевичем после уроков часто катались на автобусе.

Автобус полз по городской спине. Нет, это какая-то вошь выходит. Автобус полз по городской артерии, как кровяной шарик, а мы молчали и вертели головами, слушая, как некто невидимый говорит:

– На лестнице вон того сталинского дома, между пятым и шестым этажами, ты два часа прождешь Ванду, трижды с грохотом остановится лифт на шестом этаже, каждый раз, потоптавшись, ты будешь снова звонить в дверь тридцать шестой квартиры и спрашивать: «Простите, Ванда не пришла?», и когда усмешка Вандиной сестры станет откровенно злорадной, ты, наконец, зайдешь в лифт, нажмешь на кнопку «1» и по дороге вниз в тон запаху с облегчением обоссешь лифтовую стену, поставив первую в жизни точку.

А здесь, на Алтайской, в военкомате, ты будешь, ежась, выполнять команды и сначала с жуткой неловкостью, а потом с растущим, освобождающим от собственных бед состраданием слушать горькие жалобы врачи: «Ноги на ширине плеч! Господи, как на пластинке все записано! Откройте рот! Каждый день, каждый час одно и то же! Руки в стороны! Кому охота мочить руки в чужой пот!»

Видишь аллею? На этой аллее, работая граблями, ты встретишь своего бывшего учителя математики в черном плаще, и он первый раз заговорит понятно и исчезнет, оставив в воздухе огромный вопросительный знак, какие оставляют кумиры, стоит им заговорить ясным языком.

А вон там, за студгородком, морозной зимой, под Новый год, вы будете играть на танцах в рабочем общежитии рок-н-ролл, а потом тебя пригласит танцевать пьяная мягкая женщина в черном, с размазанной по щекам тушью, и вы будете медленно, молча качаться под песню «Миллион, миллион, миллион алых роз».

Видишь дядьку в пальто с каракулем и парня? Ты и твой мастер с завода «Техприбор». Мастер машет руками: уговаривает не увольняться. Почему-то тебя любит, спрашивает. «Да более, – говорит, – лечись хоть три месяца! Буду тебе сколько хочешь бюллетеней писать! Осенью третий разряд дадим!»

Но, как щепка, которую несло по весенней реке, зацепило было за подмытый куст и понесло дальше, – ты уже оторвался от этого чистого завода, от странной непьющей бригады и дружелюбного мастера, и несет, несет тебя дальше.

Здесь, на набережной, белой ночью, ты впервые услышишь, что отсюда нужно уезжать.

Твой институт, задний двор. С главного, взрослого входа ходят пить пиво, на главном всегда толпится разодетый народ: взрослые дела, встречи, и почти никто не знает, что на заднем дворе есть качели, на которых, глядя на шумную улицу за высокой оградой, можно спокойно качаться и по-детски бесконечно разговаривать.

В эту мороженицу ты первый раз поведешь дочку и с нежностью увидишь, что любовь к лимонному сиропу передается по наследству.

Завод электробритв. Проработав на конвейере две недели, ты почувствуешь давящее, асфальтовое желание убить и во время профсоюзного собрания, под крики худой работницы: «Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы!», – просто встанешь и навсегда уйдешь.

Хлебозавод. Когда хлебная машина врежется в троллейбус, что-то электрически зашипит, посыпятся стекла и бенгальские огни искр, а из троллейбуса, как из космического корабля, высадятся посланцы судьбы.

Варшавский вокзал. Здесь вы заключите сделку, подтвердив поговорку, что дураки не переводятся.

Белый зал. Танцплощадка. Сюда вы впервые приедете смешанной компанией; выйдя из автобуса, увидите, что окна темны и танцы отменили. Страхи сразу отпустят, и радость от первой поездки с девушками, от первой прогулки вчетвером по парку останется нетронутой.

И вдруг голос молкнет. Остается постукивание автобуса на трамвайных рельсах и люках, скрип его прорезиненной талии на поворотах, стены с колоннами, кроны деревьев, блеск воды. Голос смолк, потому что мы доехали до мест, где не произойдет никаких событий, где с нами не случится ничего и случится самое главное: здесь мы увидим на стене огромные размытые слова весны света, под этой аркой сумрачным августовским днем долго простоим,

укрываясь от ливня и дыша им, глядя из окна автобуса на набережную, подумаем: как, интересно, живут те, кто вырос в домах над водой? Влияет река или нет? Ведь ни ловить рыбу, ни купаться здесь все равно нельзя. И топятся редко, если вообще топятся. Где-то тут я повстречаю и узнаю рыжего в кепке и черном кожаном пальто до пят: его контур был выцарапан на двери ванной. А Козлевич, глядя на монументальные пыльные фасады, почувствует вкус яблочного рулета. Может, здесь жили друзья его родителей, и родители водили его, маленького, к своим друзьям, там и ел рулет? Но Козлевич говорит, что никакие их знакомые здесь не живут, а маленьким он вообще жил в Свердловске.

Жить для нас не значит делать, шустрить. Жить – значит ехать по городу, проезжать. Поэтому мы никогда не доезжаем до кольца, до того места, где город начинает расступаться, и сквозь старые, надежные кварталы, как в конце взлетной полосы, все явственней брезжит...

11

Говорят, в любой лжи, чтобы ей поверили, должна быть крупица правды. И злу, чтобы обмануть людей, нужна хотя бы видимость добра, потому что неприкрытого злодея никто к себе не подпустит. Выходит, неприкрытое, чистое зло, такое, как Прохор, безопасно?

Когда Прохор пошел в пятый класс, его родителей на три года послали преподавать на Кубу, а Прохор остался с бабушкой. Профессор Прохоров тосковал по сыну и, возвращаясь в кресле летящего над океаном ТУ-104, перебирал в голове подарки: два блока жевательной резинки, чтобы хватило на весь класс и сыну никто не завидовал, огромный рапан, открытки с прыгающими дельфинами и стаями разноцветных рыб, коробка с толстым стеклом – смотреть диапозитивы, а главное – прекрасный немецкий набор моделей гоночных машин. Еще жена тащила всякую дребедень: пакеты из фирменных магазинов, несколько пар шортов, пластиковые коробки в виде фруктов, как будто парню это интересно. Прохоров повернул голову и посмотрел на жену. Жена дремала. Прохоров тоже задремал и не заметил, как самолет на шесть внешних лет застрял во вневременном пузыре. В результате они приземлились в Пулково через день после того, как пьяный дембельский поезд выблевал их сына, старшего сержанта Алексея Прохорова, на перрон Московского вокзала.

Родители открыли дверь своим ключом. Мать, не снимая плаща, бросилась на слабые стоны бабушки в детскую комнату, а отец остановился в гостиной перед полированным столом, за которым сидели рыжеватый паренек, сонный верзила с татуированными пальцами и коренастый ладный брюнет в новой военной форме с блестящими сержантскими значками.

На столе, полированный блеск которого был местами скраден пятнами пепла, стояла почти пустая поллитра, лежали фуражка и полевой бинокль.

– Леша, – сказал отец, – мы тут тебе привезли, – и он протянул брюнету в военной форме пачку земляничной жевательной резинки.

– Класс, – откликнулся Прохор, разрывая зубами пачку и раздавая друзьям по пластику. – Не забудьте снять обертку! Ула, б..., не жуй с бумагой!

Отец положил на стол пачку кубинских открыток.

– Художественная фотография, – прокомментировал Прохор, тасуя открытки. – Маршал Конев! – он протянул открытки верзиле. – Этими картами будешь метить потери противника. Что там еще? Боевая техника? – Прохор взял из рук отца машинку, модель открытого Бентли. – Поставки боевой техники внесли свой вклад в победу над врагом. Давай все! – он встал и рассовал машинки по карманам галифе и гимнастерки. – Маршал Конев! Ты метишь потери врага открытками. Я – машинками. План наступления ясен?!

Верзила кивнул.

Прохор нагнулся и вытащил из стоявшей на полу сумки три черных кегли – знаменитые дембельские – резиновые, залитые свинцом бутылки.

– Я не буду, – сказал рыжеватый парень.

– Козлевич, – погрозил ему пальцем Прохор. – Ты с жидами или с нами?

– Я тебе сказал, что не буду.

– Генерал Власов предал родину. Расстрелять! Маршал Конев! Выступаем вдвоем!

Прохор и верзила взяли по бутылке. Прохор оправил гимнастерку и спросил:

– Папа, можно я пойду погуляю?

Они оставили дверь открытой. Профессор подошел к окну и увидел, как его сын перелез, а верзила просто перешагнул ограду детского сада. Рыжего с ними не было. Они с двух сторон подошли к беседке – в этой беседке всегда, еще когда Леша ходил в детский сад, сидела шпана. Через минуту из беседки выскочило человек восемь. Один упал сразу. Остальные бросились к забору, но Прохор с Уланенковым не дали им спастись и погнались вдоль ограды. Двое так перепрыгнули и убежали. Остальные падали, сбитые ударами страшных дембельских кеглей. Преследователи резко наклонялись над упавшими – как будто что-то клали им на спины – и бежали дальше.

Прохоров-отец машинально взял со стола полевой бинокль. Он не привык, не умел смотреть, окуляр занимали то крупнозернистый асфальт, то багажник машины, то купа листьев, то мелькали и исчезали ноги. Но вот он поймал лежавшего в траве и с ужасом увидел у него на плече открытку. Поодаль лежал другой. На его обтянутой бежевой курткой спине ярко краснела игрушечная машинка. Третий упавший дернулся – и машинка соскользнула с его спины в траву.

Я редко заходил к Прохору, но иногда видел его отца. Он был немного сутулый, с непроходящей, непроветренной, застарелой скорбью в глазах. Ему, конечно, бывало тяжело постоянно чинить разбитую сыном «Волгу», объясняться с коллегами по институту, где Прохор долго и позорно числился, выкупать сына у ментов – но выражение его лица при этом уже не менялось. Оно сформировалось и застыло в ту минуту, когда он стоял перед пьяным громилой, протягивая ему игрушечную машинку.

12. Исповедь дурака

Вначале я хотел вызвать сочувствие, что ли. Хотел сказать, что хоть я и дурак, но тоже человек и достоин. И что все мы, дураки, достойные люди, и вообще, мы как все. Но после понял, что ничего из этого не выйдет и, как бы я ни жалобил и ни оправдывался, все равно скажут «дурак». Поэтому я просто расскажу как есть. Начал понимать я, что во мне что-то неладно, что-то не как у всех, уже давно. И не то чтобы я туго очень соображал – этого нет. Учился я не хуже других, но вот поведение, решения и выбор у меня что-то того... Короче, не того. Я, например, хватаюсь за какую-нибудь мысль или дело. Тороплюсь, оживляюсь, и вдруг – бац! – что-то в голове соскочило, и уже не о том думаю и не то совершенно делаю. И ни поймать нить эту, ни вспомнить никак не могу. Добро бы это в умственной сфере только происходило. Вся беда, что именно в самом деле, в самом своем поведении, в жизни совершенно то же самое. И не забудешь же тут, коли это жизнь и есть. И решения наперед знаешь. Однако вдруг хлоп – и пошел в другую сторону. Чтобы жить, ума много не надо, то есть того, что многие за ум принимают. Пошел туда, сделал это. И тебе хорошо, и всем хорошо. Я вот пошел и не дошел. И ведь знаю наперед, что хуже только будет, а вот что-то соскочило, и баста. Не пойду, да и все. Я и умом-то не вышел, но вот что меня удивляет: если я чего-то не сообразил, не помню, не понимаю, так все прощается. Что, мол, с дурака взять. Но чуть доходит до дела – держись. Вот я, например, не сделал что. Все подступают, пальцами тычут, угрожают и говорят: «Ведь ты же знал, что надо это сделать!»

Знал. Действительно, знал. Но что толку. Знать-то я знаю, но как только начинаю думать, что вот это надо сделать, тут-то мысли начинают скакать и сбиваться. Что, мол, будет, как сделаю? А как не сделаю? М-да, будет плохо... Надо бы сделать. Ну а если не так сделаю? Что тогда? М-да... Как бы чего... А может, и того. Нет... Да...

И вот смотрю, время уже подходит. Ну, думаю, теперь не успел. Что будет? А может, еще успею? В общем-то, успею, если примусь.

А ну как не примусь?

И что в итоге? В итоге приходят, видят. Как, говорят, ты же знал, что должен это сделать и что мы с тобой сделаем, если ты не сделаешь.

– Знал, – говорю.

– Ну, вот и получай.

Другой раз просто из головы выскочит. Мне, может, скажи: «В конце недели, в двенадцать часов истечет срок твоей жизни, если ты не съездишь в поликлинику».

По опыту знаю и скажу вам, что прибегу я в эту поликлинику под самое закрытие. А скорей всего и вовсе не прибегу. Это уж так.

Лень, скажете вы. Что ж, может, и лень. Но разве лень – это не глупость? Нет. Лень – это лень, а глупость – это глупость. Тут еще нерешительность и мнительность, скажете вы. Согласен.

Но, спрошу вас, разве обладание всеми этими качествами не делает человека дураком? Если он еще и соображает туго? Полнейший и чистейшей воды дурак получается.

И вот вокруг все мне говорят: возьми себя за ум, поставь себе задачу, перебори себя и т. д. Но позвольте, за чей ум мне взяться, если я дурак? Задача-то я миллион перед собой могу поставить, все одно не решу. А насчет того, чтобы перебороть себя, то тут я прямо и не знаю, с какого бока и подойти. При всем при том я искренне хочу действительно и за ум взяться, и перебороть себя, и т. д.

Но когда я говорю все это, ни один не верит. Все сатанеют вокруг и думают, что я издеваюсь. Они не понимают, как это можно понимать и не делать. Выгоду свою понимать – и не делать. Многие из них, если поймут, что под горой рубль лежит, то и гору свернут.

При том, что ума, то есть того, что все принимают за ум, в некоторых из них даже меньше, чем у меня. И когда эти начинают меня учить, да наставлять, да наказывать, то ведь и меня, дурака, злость берет. Она, я вам скажу, обычно дураков и берет. И берет тогда меня упрямство. А поскольку упрямство – это остановка на какой-то позиции, а позиция у меня одна, то я и вообще начинаю ничего не делать во вред себе. И выхожу еще большим дураком.

Вот скажите мне. Бомжи, что по подвалам спят, паспортов не имеют. Ходят черт знает в чем, едят что придется. Кто они? Паразиты, не желающие работать? Несчастные, искалеченные судьбой люди? Дураками их не назовет никто. Потому что это другая категория людей. А дураки всегда только среди тех, кто еще входит в нашу категорию. Я вам скажу, кто это. Это все бывшие дураки. Среди них есть свои дураки. Но для этих дураков двенадцать часов уже бьет.

Что же со мной, дураком, делать? Заставить дурака работать, под палкой, соответственно? Под палкой без пяти двенадцать? Если он, то есть я, по-иному работать не хочет, пусть потрудится в другом, не нашем месте, и когда его, то есть меня, пошлют туда, все скажут: вот дурак! Мог бы жить и т. д.

Я, может, таким, дураком то есть, и неплохо бы прожил. В смысле без притеснения меня обществом. Возьмем хоть Обломова. Его бы к нам – живо бы за тунеядство сел.

Но дело в том, что хоть и есть поговорка, что дуракам везет да счастье. Но потому-то она и есть, что обычно дураку дорога дурацкая и выпадает. А как свихнет его ветром, случайно этак на хорошую дорогу, тут есть чему удивиться да сказать: «Ну и везет дуракам!»

И вот бреду я по своей дурацкой дороге жизни, а она, жизнь-то, и не прощает, перед ней-то я и виноват.

И тут уже не оправдаться.

13

Я стоял в коридоре и смотрел на новую дверь. Я стоял перед этой дверью, как человек стоит перед фактом. За два дня, пока я был на даче у Козлевича, отец с Сашкой установили в коридоре, между своими комнатами и моей, входную дверь. Я повдыхал запах нового дерматина, поковырял ногтем латунный гвоздь. Не хватало только таблички с номером квартиры: квартира-то у нас одна, в смысле сортир и ванная остались общие. Пока отец с Сашкой на

своей половине новый сортир не установят или, скорее, новой стенкой меня от своего сортира не отрежут. Ничего общего, кроме мест общего пользования, между нами теперь нет. Конечно: в отцовской комнате немецкий сервант с бокалами, пуфики, на ковре рог в серебре, в холодильнике кетчуп, на столе – книга Гиннеса. А у меня? Коричневый потолок, два страшных дивана, ящики с тарой в углу и картонный стол, ободранный по краям, потому что об него открывают бутылки.

Теперь между нами дверь, типа берлинской стены.

Мне хотелось пинать эту дверь или поджечь ее. Но так я только докажу, что мои родные правы, а родные покачают головой и вместо деревянной стальную дверь поставят.

А если спросить – все скажут, что притон, который я устроил, терпеть невозможно, и я еще должен благодарить, что на улицу не выставили и пропуски не лишили. Все это якобы из-за рога – из-за того, что я рог украл и пропил. А я скажу: дверью они прикрыли стыд.

В нашем кооперативе все из одной организации. Раньше отцу с Сашкой про меня объяснять приходилось, а теперь дверь все объясняет. Они сами по себе, я сам по себе.

Теперь ко мне и милицию легче вызвать. Но и общаться со мной легче. Отец, может, даже похвалит, что в туалете не пачкаю, а Сашка лишний раз зайдет по-соседски. Смотришь – и установятся у нас, наконец, братские отношения.

И все благодаря двери. Спасибо тебе, дверь.

14

Валера тринадцать раз болел триппером. Валера всегда улыбается. Валера садится за стол в дубленке. Снимает только пыхиковую шапку. Не оставляя шапку в коридоре, чтобы не прихватил уходящий гость, Валера кладет ее на колено. На другое колено ставит набитую холщовую сумку, обмахивает рукавом столешницу и начинает выкликать и выкладывать товар:

– Наушники «Сони»! Пятнадцать! Берете? Рубашка бундес. Двадцатник! Жилетка дутая, финская. Пятьдесят. Кто берет? Веселые картинки! Руки прочь! Купи – тогда посмотришь.

Последней всегда выкликается (но никогда не вытаскивается) бейсбольная рукавица. Перед тем как складывать барахло на место, Валера лезет в сумку, и улыбка на его физиономии сменяется недоумением. Валера вынимает обломок пластинки. За ним – другой. Потом конверт – и улыбается: вспомнил.

– Что это? – спрашивает Козлевич.

– Джексон, мудака, сломал по пьяни диск Леннона. Хочешь, бери за пять. Конверт новый!

Валера никогда не носит диски в сумке. Для дисков у него есть черный дипломат. Когда Валера кладет дипломат на стол и щелкает замками, даже самые пьяные подтягиваются. Но Валера не дает лапачь диски сразу. Сначала показывает всем обложку, раскрывает ее, как альбом, вынимает пластинку в нежнейшей шуршащей ночной рубашке, раздевает ее и, держа ладонями за ребра, слегка трясет, заставляя вибрировать.

– Смотрите, какая масса! Ни одного дерибаса, чистая!

– Поставь! – просит Козлевич.

– Ты что! Буду я на «Мелодии» чистый диск пилить!

Пластинка идет-таки по рукам. Валера знает: ее не уронят. Диск бережно держат между ладонями, читают по складам:

– Ат-лан-тик.

– Дай переписать, – просит Козлевич.

– Бери! Всего тридцать пять. На Галере за семьдесят идет!

– Я пленку принесу. Запишешь?

– Запишу.

По Валериной улыбке ясно, что так бы мог ответить стол, шкаф.

Пластинки возвращаются, их одевают, кладут в дипломат. Но сегодня Валера без чемодана. Ломаный Леннон в дипломатах не нуждается. Он с явной усмешкой глядит на нас узкими глазами сквозь круглые очки.

Валера протягивает Козлевичу обложку:

– Бери как плакат! Диск бесплатно!

– От мертвого осла уши, – ухмыляется Прохор.

Козлевич протягивает пятерку.

Когда все уйдут и только Козлевич останется, я спрошу:

– Что ты с этой обложкой делать собираешься? На стену повесишь?

– Ну и повешу.

– Ты понимаешь, что ты из этого Леннона бога делаешь? Хочешь, расскажу, кто он такой? Ты сам же мне читал!

– Ну?

– Он рос сиротой и тосковал по маме. Плохо учился, хулиганил, с тоски начал играть на гитаре, терроризировал товарищей по группе, и даже когда группа прославилась на весь мир, оставался злым и несчастным. Однажды он зашел в галерею и познакомился с художницей, которая стала ему мамой. Под руководством новой мамы он ушел из группы, занялся ультралевой политикой, начал снимать на кинокамеру свой член и петь: «Женщина – это негр мира. Мы заставляем ее красить лицо и танцевать». Жить под нвой мамой было сначала трудновато. Джон психовал и торчал, но потом стал домохозяйкой и совершенно успокоился. И ты такому вот молишься?!

А про хрипящую Дженис объяснить? Над ней смеялись в школе за то, что она толстая, и за то, что ее папа недостаточно ненавидит негров. В отместку она больше всего на свете полюбила негров, их песни и хотела только одного: стать негритянкой или хотя бы петь, как негритянка. Голос у нее был великолепный, но то, что для негра естественно, белому никак. Она напрягала все силы, принимала кучу наркотиков, хрипела, тряслась, скоро надорвалась и умерла. Ты на нее тоже молишься, да?

Козлевич покраснеет. Больше всего, когда разбирают на мелкие винты то, что ты любишь. Любишь ведь целое. Только такой добрый человек, как Козлевич, может стерпеть. Козлевич сморгнет и скажет:

– А ты понимаешь, что это единственное, что сейчас есть? Что кроме музыки сейчас вообще ничего нет?

15

Говорят, супруги должны подходить друг другу. Это называется «совместимость». Когда Сашка познакомился с Мариной, сразу стало ясно, что для него есть Марина, а есть все остальные. Дело было не только в том, что он тратил на Марину кучу времени, ездил ее провожать на станцию «Лесная». Когда Сашка на нее смотрел, в глазах его был какой-то обреченный свет. И где бы они ни были, куда бы вдвоем ни шли, хоть даже в магазин за картошкой, этот свет чувствовался между ними. И когда они пошли медленнее, сначала с коляской, потом с маленькой девочкой в шерстяной шапке с большим помпоном, над девочкой, не касаясь ее, висел тот же самый обреченный свет. Сначала Сашка с Мариной жили у нас. Не помню, чтобы они хоть раз ссорились или орали, как, бывало, орали друг на друга отец с покойной мамой.

Но иногда ночью у меня играли в карты, все было в дыму, и из-за дыма, пульки и оттого, что все были уже пьяные, мы не сразу замечали, что вошел брат в тренировочных штанах и растянутой тельняшке, в которой он спал. Сашка наливал себе полстакана портвейна или водки и сидел с таким лицом, что даже Уланенков понимал, что лучше его не трогать. Минут двадцать Сашка смотрел на игру, допивал и шел к себе в спальню.

Один раз он зашел ночью, а я один писал и, увидев Сашку в дверях, сразу захлопнул тетрадку и спрятал ручку в карман. Это была странная ночь, не такая, как все. Сашка увидел, что кроме меня и дыма никого и ничего нет, но не смог закрыть дверь и уйти. Он сел напротив и, раскачиваясь, рассказал мне.

Когда узнаешь про людей такие вещи, начинаешь смотреть на них по-другому. Я понял, что Сашка с Мариной никогда не разведутся.

Если бы они подходили друг другу, то быстро наелись бы клубники и разошлись в разные стороны другие ягоды искать, а тут между ними куст. Продраться сквозь куст невозможно. Пойди сквозь малинник продерись. Тянутся друг к другу и дотянуться не могут, то один, то другой положит в рот исцарапанной рукой мелкую, костлявую, обидную ягоду, то один, то другой толкнется через куст и отступит. Другие бы отошли, отказались, но не такие, как Сашка с Мариной. Вот тебе и совместимость.

16

Только два моих гостя допускались за железную дверь, на чистую половину, где жили отец, Сашка и Марина. Один гость был Янушковский, по кличке Шковский, учившийся вместе с Сашкой в универе, другой – Валера.

Валера со своими товарами и улыбками мог влезть куда угодно, непонятно только, зачем ему надо было туда влезать.

А вот я сейчас, на нейтральной территории, в вагоне метро, где за окном черные стены с проводами и теплый стерильный ветер, а мы стоим рядом и держимся за один поручень, вот здесь я его и спрошу:

– Валера, ты что у брата ошиваешься? Марину, что ли, хочешь?

Валера улыбается. Валера улыбался всегда. Помню, в седьмом классе его не пустили на школьный огонек в джинсах: первые в школе джинсы! Учительница литературы встала в дверях, защищая школу от вражеских штанов. Валерин триумф сгорел дотла, а Валера улыбался: «Е... я ваш огонек!»

У нас, как у индейцев в резервациях, грустные и мрачные считаются умными, а кто вечно лыбится – дурак. Чему радоваться-то? Райкину с Хазановым? Но Валера не был дураком. Просто он был один против всех. Валера улыбался, когда дюжий мент конфисковывал у него пачку вишневой жевательной резинки, когда в толчее ему продавали одну джинсовую штанину, когда вместо покупателей из кустов, как древний ужас, выходили пятнадцать гопников, когда знакомый клиент Гриша убежал с Валериным диском, а на телефонные угрозы спокойно басил: «Приезжай! Да я на тебя всю улицу подниму!»

Если бы Валера не улыбался – он бы сдох.

Но Валера не просто улыбался. Он сек, что к чему, и через пару лет с улыбкой говорил лейтенанту, грозившему посадить за незаконную торговлю яйцами на Сухумском базаре: «Не посадишь! Звездочек не хватит!»

Валера уже не ошивался, как юная шлюха, в слякоть и дождь у гостиниц, а сидя дома, с улыбкой пересчитывал часы «Полет», которые его мальчишки дюжинами пихали итальянцам, и купленные у морячков банки духов.

От юности осталась сумка с барахлом, которую Валера по привычке всюду таскал с собой.

Страна, как батарея к солнцу, поворачивалась к деньгам и товарам, приговаривая: «Какой грузин без винограда? Какой еврей без жигулей?» На новых жигулях ездили монахи. Прощаясь у парадных и уклоняясь от поцелуев, девушки мрачно, глядя прямо в глаза, говорили юношам: «Ты обещаешь! Не достанешь джинсы – больше не приходи!» Дети секретарей райкомов одевались от валер и покупали у валер порно, духи и музыку.

Валерины коллеги шли ночью и хохотали в легкую метель. Снег скрипел под дутыми финскими чунями. Шары пыжиковых шапок были нахлобучены по самые глаза. Из круглых ртов рвался победный хохот.

Среди мажоров Валера был равным. В моей грязной комнате, играя с одноклассниками в преф по копейке, Валера чувствовал себя самым, самым, самым крутым.

Хотя у меня в комнате каждый был самым крутым в своем роде. Из нас можно было формировать правительство: Валера – финансы, Прохор – оборона, Уланенков – здравоохранение. Шковский – образование. Я – культура. Козлевицу, пока не уехал, пришлось бы доверить министерство иностранных дел.

И вот министр культуры (я) замечает, что министр финансов все время шастает за железный занавес. Командировки, конечно, разрешены. На то мы министры. Но Валера явно хочет изменить расстановку сил в современном мире, и в отсутствие моего брата залезть со своей торбой в постель к его жене Марине. Министр культуры (я) не хочет третьей мировой войны. Он спрашивает:

– Валера! Чего ты все у Сашки торчишь? В Марину влюбился?

– Ложкин, – отвечает Валера, – возьми дачный участок. Поставь теплицу, выращивай тюльпаны и продавай. Займись хоть чем-нибудь. А что ты там пишешь – это никому не нужно. Ну, может, еще пяти таким же, как ты.

И я первый раз в жизни вижу, что Валера не улыбается.

17

Прохор щелкнул колодой.

– Подожди, – сказал Шковский, – я хочу вас всех спросить.

– Опять начал...

Маленький Шковский чернотой прямых волос, круглыми очками и жестким ртом похожий на Джона Леннона – Оно, поучился на физфаке, но для физики оказался слишком шустрым и перевелся на психологию. Шковский вечно увлекался: то бубнил про революционное летоисчисление Николая Морозова, то про Гумилевскую теорию пассионарности. Самым пассионарным из нас выходил Валера. Как-то утром Шковский на пару часов принес переснятого Солженицына и, глядя, как меня корчит от чтения о пытках, задумчиво сказал, пуская дымовые кольца:

– А меня в первую очередь интересует, откуда он позаимствовал идею коллективного покаяния?

Шковский часто устраивал опросы: кто какую группу любит, у кого какие отношения с родителями. Было ясно и гадко, что он использует нас для своих исследований. Но внимание, пусть корыстное, растапливало скрытность, как долгое теплое дыхание растапливает белую изморозь на зимнем стекле. Кому мы еще интересны?

Вот и сейчас Шковский затеял опрос. Начал с Дона Корлеоне. Крестный отец якобы сказал, что у мужчины может быть только одно призвание.

– Вот у тебя, Саня, какое призвание?

– Такое же, как у тебя, – мрачным басом ответил Шковскому брат Сашка, сидевший в углу грязного дивана в тельняшке и тренировочных штанах.

– А у тебя? – обратился Шковский к Уланенкову.

– Я хочу, – сказал Уланенков дурацким торжественным голосом и затряс поднятой правой рукой, как будто держал в ней бокал шампанского и произносил новогодний тост, – я хочу стать врачом и спасти человечество от рака!

Мы уже знали: тут главное не засмеяться, потому что Уланенков может броситься, и его не удержишь впятером.

Ула не врал. Я видел у него учебник «Анатомия и физиология», а б... Коптева рассказывала, что Уланенков странно ощупывал ей ребра и при этом шевелил губами, будто считал. Он даже поступал в медучилище, а когда первый раз сел, работал на зоне санитаром.

Шковский не улыбнулся. Невидимой ручкой с золотым пером он занес признание Уланенкова в нужную графу и повернулся к Козлевицу:

– А ты, Вадик?

– Хочу собрать рок-группу... Вряд ли получится...

Прохора Шковский опрашивать не стал. Сейчас – меня.

Сказать, что я писатель? Засмеют. Но дело не в этом. Уланенков, неспособный окончить десяты классов, знает, что спасет человечество от рака. Его мать часто болеет, а отец, замерзший по пьянке, когда сыну было десять лет, работал в поликлинике ухогорло-носом. Сашка знает, что родился физиком. Шковский – психолог. А я?

А вот я спрошу себя. У Шковского свои опросы, у меня – свои. Закрою глаза, отключу контроль – и пусть ОНО скажет.

Я закрываю глаза, отпускаю сторожа и, когда Шковский спрашивает меня, слышу свой голос:

– Мое призвание – пить чай и смотреть на пролетающие облака.

Голос Прохора:

– Это зачем?

– Хочу увидеть радугу.

– Щас увидишь.

Шлепанье карт. Открываю глаза. Прохор сдает.

18

Ты помрешь, все помрут, а Луна, как ни в чем не бывало, будет крутиться вокруг Земли. «Ну, нет, врешь, – скажет иной, – может, ее распилят там или на топливо пустят».

И лицо его посветлеет, и ему станет легче. С чего бы это?

19

Я – графоман.

Написав это заглавие, я решил посмешить читателя. И не только посмешить, но и порадовать. Действительно, разве не приятно посмеяться над человеком, пишущим чепуху и считающим себя при этом вторым Львом Толстым? Увы, я тоже бы рад посмеяться, но с некоторых пор мне не до смеха. Я завидую даже – как можно, оказывается, считать себя гением и не сомневаться, что только глупые и завистливые, подкупленные даже редактора виноваты в том, что его творения еще до сих пор не поразили мир. Что касается меня, то, создавая, так сказать, свои творенья, я вижу, какая это все чепуха. Чувство раскаянья в содеянном, а главное – страх и стыд, что кто-нибудь прочтет это, заставляют меня прятать и – по прошествии времени, а в основном сразу – сжигать свои произведения.

Но писательский зуд и какая-то отчаянная надежда, что из нагромождения слов, если их почаще кидать, авось что-нибудь и когда-нибудь сложится... Мысль, кстати, не лишенная научности: ведь говорят ученые, что если обезьяна будет бесконечно долго стучать на машинке, то когда-нибудь выстучит и шекспировского «Гамлета». С утешающей мыслью, что я-то все же человек, я вновь и вновь принимаюсь за свои опусы. Сжигать-то я их сжигаю, а вот для чего-то дал Козлевичу целую папку почитать. Зачем? Сжег бы, да и все. Так я вам скажу: дал, потому что надеюсь, что хоть Козлевич мои сочинения перепечатает, сохранит, да еще, чего доброго, уедет в Америку и там издаст.

Но эту-то страницу надо сжечь. Теперь буду некоторые вещи помечать, чтобы не перепутать. Так и буду писать: не для Козлевича.

20. Не для Козлевича

Козлевич виноват передо мной. Из-за него я стал мечтателем. Для человека вроде Козлевича, который на каждую кассету наклеивает бумажку с именем группы, каждое утро ест на завтрак бутерброд с сыром, на обед – суп и второе, а на ужин – кашу, мечта вроде кетчупа. Отец Козлевича всегда приходил с работы в шесть, мать – в пять, а бабушка так просто никуда, кроме булочной и прачечной, не отлучалась.

А мой папаша по неделям жил на объектах, мать работала посменно и, вместо того чтобы готовить обед, давала мне шестьдесят копеек, чтобы я купил булочки, докторской колбасы и кефира. От батона я отщипывал, а колбасу ел с бумажки. Козлевич завидовал моей свободе, свободе нашего дома, где сквозняк из незаклеенных окон шевелил тюлевые занавески, где взрослых либо не было, либо они спали, и вся жизнь была широкая и сонная, как мечта. Никто мне не указывал, ничего кроме Сашкиной секции борьбы меня не занимало, да и в секцию я ходил, чтобы по дороге есть мороженое «сахарная трубочка» за пятнадцать копеек. Мне бы нужен был друг, который увлек меня каким-нибудь конкретным делом. А Козлевич посмотрел на нашу жизнь и стал мечтать. И меня втянул. До Козлевича я бегал по двору, играл в футбол, я был как все и жил детской жизнью. С Козлевичем я приучился мечтать о жизни взрослых. Она-низм – это мечта. Мечта – это онанизм, розовый восход, весна света за окном автобуса. Легко начать мечтать, трудно кончить. Хорошо мечтать весной. Летом это на хер не нужно. Летом надо жить. Приходит время, когда надо завязывать с мечтами о жизни и начинать жить. И бывает, мечтатель пытается жить, но не может: ведь жизнь по сравнению с мечтой – дрянь. Он возвращается к мечте, но и мечту уже не любит, зная теперь, что мечта – не рассветная панорама его будущей прекрасной жизни, а ложь, мираж и провокация.

Козлевич поскрипел, помучился и начал жить. А я так до сих пор и мечтаю.

21. Не показывать Козлевичу

На истории Козлевич читал под партой книгу в потертой красной обложке. Жюль Верн. У нас-то дома не было никаких книг кроме учебников и модных журналов, что мать приносила из гостиницы. Мы рассматривали французенок в белье. Удивлялись, что такие тощие.

В комнате Козлевича тоже не было книг. Мама с бабушкой решили мальчику лепить на стены возмутительные морды певцов и певиц, кассеты которых заполняли полки.

Зато в гостинице у них темнела книжная стена. Многие корешки были старые и какие-то необычные, я не сразу понял, что они кожаные. И золотые буквы блестящие не так, как на «Королеве Марго».

– Что это за твердые знаки в конце?

– Дореволюционные, – буркнул Козлевич.

Я попытался вытащить том Достоевского, но книги были стиснуты – нож не всунешь.

– Можно Достоевского почитать-то? – спросил я.

Козлевич посмотрел странно и сказал: надо спросить. Дед бы не дал, а бабушка, может, даст. Козлевич надолго зашел в комнату бабушки и вернулся с ответом, что Достоевского рано, а Жюль Верна можешь взять. Одну книгу. В ряду красных книг как раз было пустое место, видно, того тома, что Козлевич таскал в школу. Том наверняка лежал у него в портфеле. Я взял в руки соседний том. Собрание Жюль Верна и Уэллса, издательства «Земля и Фабрика». Страницы понизу были желтыми и слабо пахли, видно, предки Козлевича роняли их в бочку с селедкой, но вовремя выхватывали. Я из духа противоречия взял не Жюль Верна, а Уэллса.

Вечером я лег на диван, включил настольную лампу и раскрыл слабо пахнущую селедкой книгу. С тех пор я всегда читал лежа.

Но я не лежал. Я был Бентоном, разорившимся и изгнанным с платформ, где жила элита будущего, я сидел с разбитой мордой у станка, переживая поражение в своей первой драке.

Я шел с Клариссой Маккелан по пустой ночной улице мимо серийных коттеджей с одинаково горящими в одинаковых гостиных телевизионными стенами, и наш преступно-нестандартный разговор заглушал рев ракетного автомобиля.

Сквозь бойницу в стене марсианского дома, держа в руке серебряную говорящую книгу, я смотрел на приближавшихся цепью, с автоматами наперевес, товарищей по экипажу, которых я не успел застрелить.

Думаю, что, читая, я шевелил ногами и руками, как собака, которая видит боевые и охотничьи сны.

Так и пошло: я клал кирпич в книжную стену Козлевичей и вынимал новый. Козлевич еще долго спрашивал у невидимой бабушки разрешения. Бабушка разрешала. В стене всегда не хватало двух кирпичей: один был у меня, другой – у Козлевича в портфеле. К тому времени, когда Козлевич перестал таскать в школу книги, я уже понял, что не ему бы родиться у книжной стены, а мне. Козлевич слушал мир. Я – читал.

Покончив с фантастикой, я продолжал читать взрослые книги, как подросток.

Куприн вместо ненависти к проституции вызывал у меня жгучие ночные мечты, Ваню из «Палаты номер шесть» было просто жаль. Я не понимал ни социального пафоса, ни философских отповедей. Я пил, стоя на четвереньках, я лакал из реки, в которой отражались страшная красота глуповского пожара, блестящая точка, пожирившая пьяного Степана Головлева, кладбище, по которому бродил Ионыч.

Но когда я, наконец, вытащил из книжной стены и открыл тот самый тускло блестящий кожаный том Достоевского, который мне когда-то не дала бабушка Козлевича, после первой же повести, еще до «Записок из подполья», я понял: это про меня.

22

Вот я. Я ведь таракан и вошь. И ведь нет, по-моему, ничего злее таракана и вши. И я зол. На кого и на что? Да на всех и на всё, а больше всего, конечно, на тех людей, которых уж никак за вошь не примешь. На людей-то больше всего. Я, положим, подлец, трус,

алкоголик и т. д. и т. п. А он, эдак, совсем наоборот. Я, положим, уверен, что он меня не только презирает (если он опускается до ненависти ко мне, это еще куда ни шло), но и вообще почитает за вещь не только ненужную, а вредную и подлежащую изъятию, изоляции и всяческому сокращению и умалению. И самое главное, я знаю, что он эдакое в себе чувство не только правым считает, а даже за нечто неотъемлемое и лучшее из своих достижений принимает. Это меня больше всего и злит в людях. Что, видя меня во всей моей подлости, никчемности, ненужности, он, этот человек, на моих же костях свой дворец строит. Воспаряет прямо на небеси. Уж это завсегда так. Потому что на чем же все ихнее хорошее, великое, высокое и чистое стоит? Да на нас же и стоит, на ползучих.

Но они никогда и не поверят в это. У них и взгляда такого быть не может. Они там все и всё, а мы – это так, выбросы, отбросы. Если хранина ихняя крепко стоит, то еще могут и жалость, так сказать, проявить. Но уж тех, кто потрусливее и не очень у них крепко, – берегись: хуже клопов заморят. Впрочем, и так морят, для назидания и профилактики.

Вот скажите: что надо делать с вредными насекомыми? Их надо уничтожать. Это, как говорится, аксиома. Далее. Всех ли насекомых надо уничтожать? Нет, полезных насекомых уничтожать ни в коем случае не надо. Чем же отличаются вредные насекомые от невредных? Да вы что?! Как тут не знать? Вредные приносят вред, а полезные пользу. Теперь главный вопрос: кому? Нам. Вот так вот. Нам. Это значит, мы и решаем, что вредно, а что полезно. А поскольку МЫ видим множество всяческих отбросов и подонков, которые НАМ не полезны, а даже вредны, мы и решаем, что НАМ с ними делать. И вот, значит, я среди отбросов, подлецов и вредных людей. А ОНИ с высоты непогрешимости знания, что вредно, а что полезно, вершат надо мной суд правый и справедливый.

Замечу вкратце, что ОНИ – это просто те, кто имеет силу и средства для суда над вредными, по их мнению, людьми. И, большей частью, судимые ими тоже имеют свое, то есть уже их, судимых, мнение о вредности и полезности и ни в коей мере не являются вредными и, тем паче, подлыми и ненужными людьми. Я говорю не только про себя.

Вот я таракан и вошь. Я настолько таракан и вошь и, может быть, именно потому таракан и вошь, что не разделяю полезное от вредного. Для себя самого не разделяю. Ведь что бы я ни делал и что бы ни делали со мной, я вижу, что приношу лишь один вред и себе, и всем, и все приносят вред и мне, и себе.

И я зол и завистлив. Отчего? Да оттого и зол, что завистлив. А завидую я огромной массе людей. Завидую тому, что в их головах твердо сидит знание, что есть вред, а что польза, что добро, а что зло, что справедливо, а что несправедливо. И все, борясь за справедливость, пользу и добро, мстя за попанную справедливость и причиненный вред, давят, калечат и убивают друг друга, при этом никто из них не считает себя за таракана и вошь. А я, выглядывая из своего ползучего болота, хотя и меня планомерно, а иногда и ненароком давят и калечат для искоренения меня как вредного или выжимания из меня полезного, не могу даже уверовать, что это несправедливо, поскольку никакой справедливости за собой и в себе не вижу.

Или же, наоборот, что сие справедливо, поскольку справедливости за ними также не нахожу. Я лишь зол, бесконечно зол на них, и только лишь за то, что они проделывают это с полным сознанием принесенного добра и пользы. И проживают в храминах непогрешимости своих мыслей и дел. В сознании единственности как бы закрепленной за ними способности отделять вредное от полезного и, служа безусловно полезному, вершить суд правый и справедливый.

23. Быть как все

Раздевалка пахла пропитанной потом одеждой. До нас физкультура была у старших. Десятый «А» переодевался тут же, и мы старались натягивать тренировочные побыстрее, а места занимать поменьше. Все-таки они поймали Скобаря, раскачали за руки и за ноги и подбросили в воздух. Скобарь лежал на полу, захлебываясь, когда в раздевалку зашел Белов из десятого «Б».

Белов вынул узкую железную расческу, чесанул набок белый чуб, посмотрел сквозь расческу на свет, продул ее, убрал в нагрудный карман и сказал:

– Все, кому дорога честь улицы Ленсовета, сегодня в восемь выходите на Аллею махаться с эсэсовцами.

Нет, Белов сказал «драться»: это же было официальное сообщение. Эсэсовцы жили за Алтайской. Они не ходили в нашу школу на танцы, и наши не ходили к ним. Лично я ни одного эсэсовца никогда не видел. А Сия, друг Белова, увидел. 8 марта Сия пошел к Вере-обезьяне. Это в 216-м доме, на нашей стороне Алтайской. До Веринной квартиры Сия не дошел: в ее парадной сидели на перилах четверо эсэсовцев. Сия выполз из парадной на четвереньках.

На физкультуре не было обычной возни, стеба и шлепков.

Все бежали по периметру спортзала и прыгали через козла с такими озабоченными рожами, будто Белов объявил по радио войну. Хотя заботиться было не о чем. Пять человек из класса знали, что пойдут драться. Остальные знали, что не пойдут, потому что они не хотят получить по башке колом или кастетом, то есть трусы, или потому, что они нормальные ребята, слушают рок, собираются в институт и не ползут с прыщавыми гопниками в их массовую драку.

Но никто из трусов и нормальных ребят не признался бы, что не пойдет. Выходило, что все пойдут махаться с эсэсовцами, а некоторые не пойдут. Быть как все – значило быть как те пятеро, что выйдут сегодня в нейлоновых куртках, со свинчатками в карманах вельветовых штанов на темную Аллею защищать свою школу, свою деревню, свою улицу.

Мы с Козлевичем хотели быть как все, потому что мечтатели всегда хотят невозможного.

24

Мы встретились у моего дома, в семь. Была ранняя весна. Я чувствовал, как мои клеши тянет книзу тяжесть мокрой грязи, которая летела из-под колес машин и автобусов.

– Пошли, посмотрим? – коротко спросил Козлевич.

– Пошли!

Мы нырнули, как будто с мостков прыгнули, во дворы. Через район Красной школы мы никогда не ходили: боялись. Пришлось обогнуть его и двинуть между хрущевскими домами.

В тенистых дворах между хрущевками было темновато, наверху стоял неподвижный розоватый закат, похожий на широкое спокойное русское лицо, и тонкие черные ветки деревьев казались его морщинками. Дворы кончались. Сейчас мы выйдем на Аллею, где наши и эсэсовцы махаются цепями и кастетами.

– Пойдем драться, что ли? Убьют!

– Посмотрим вон оттуда!

Мы вышли было на улицу, но остановились и в просвете между домами сразу увидели, как по Алтайской к Аллее медленно едет шеренга милицейских газиков.

Мы шмыгнули обратно во двор – ментовская машина ползла по дорожке, прямо на нас.

– Сека! – я чуть не упал.

Листья и грязь летели на бегу из-под ног.

Назавтра, на первом уроке, завуч просунул в класс голову и вызвал к директору Уланенкова и Простова.

В туалете Уланенков, возвышаясь над всеми на две головы, рассматривал хабарик.

– Ну, Ула, чего тебя вызывали, за драку?

– Ну.

– Как там было-то?

– Да х... Менты устроили облаву. Пригнали на Аллею двадцать ПМГ.

Все наши и побежали от них через дворы. А во дворах только двух ментов поставили. Из одного там вообще г... сделали. Пистолет отняли.

– А мы, – бодро встрял Козлевич, – шли к вам, уже дошли до Аллеи, а тут ПМГ едут. Драка-то была?

Уланенков не ответил. Он пристально посмотрел в угол и громко, прицельно плюнул через голову Козлевича в дальний унитаз.

– Драка-то была? – не отставал Козлевич.

– Да ни х... не было. Пришло наших человек восемьдесят и эсэсовцев человек двадцать.

– Ну и что?

– Да ни х... Стояли между скамейками. А потом менты приехали.

Через восемь лет, ранним вечером ранней весны, я вышел из бара. Меня тошнило. Бар чебуречной блистал, когда открылся. Бармен ставил Элиса Купера и даже варил кофе в песке. Теперь музыка стала дешевой, а коктейли разбавляли, как пиво в ларьке. Сидячих мест не было, все курили. Положив голову на столик, спал Уланенков. Он недавно освободился. Козлевич почему-то тоже вышел из бара. Мы двинули к Фонтанке и свернули в парадную. Козлевич вытащил из сумки бутылку «Эрети» и дернул краем пластмассовой пробки о край чугунных перил. Пробка отскочила без чпока, только явственно в старой, пыльной тишине парадной стукнула о каменную ступеньку. Кислое вино отогнало тошноту, но на мосту мы страшно запьянели и пошли к метро не по проспекту, а через пустой парк, качаясь и держась друг за друга.

– Сынки! – прокричала нам в лицо, как вещая птица, низкая бабка с черной сумочкой. – Бегите скорей, милиция едет!

Мы послушались, но бежать пришлось в густой воде, тормозя друг друга. Гул мотора приближался. Мы бежали от него в этом страшном сне, мы гребли против течения, пока нас не вынесло на боковую аллею и не стукнуло о белую скамейку с черными чугунными ногами и боками, нерушимую, как сталинский дом.

Мы страшным усилием нашей несуществующей воли выпрямились, типа сидим прилично. Выпрямились и увидели неподвижный розовый закат, черные, чем выше, тем тоньше, линии стволов и веток и медленно проползавший мимо нас по главной аллее, то скрываясь за деревьями, то показываясь, как иголка, прошивающая мешок, патрульно-милицейский грузовик. Опять была весна. Нас опять не поймали. Только теперь мы вроде и правда были как все.

25. Мои ворота

Что бы ни случилось, горе иль беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои, деревянные. Мои ворота – два дерева на пустыре, между моим домом и домом Козлевича, ближе к моему дому. Раньше там была целая роща, но когда ровняли землю под стройку, которую так и не начали, уцелели только эти два дерева. Одно дерево ранили – оно растет теперь криво, почти касаясь верхушкой другого дерева, а летом их жидкие кроны сливаются. Это и есть мои ворота. И когда я возвращаюсь домой, я прыгаю между деревьями на одной ножке и пою: «Что бы ни случилось, горе иль беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои, деревянные». Не знаю, зачем я это делаю, может, на счастье, я просто чувствую, что должен. Ничего здесь такого нет, но я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, как я прыгаю между деревьями и пою. Если с Козлевичем гуляем вечером и все не можем расстаться, я провожаю его последним, чтобы вернуться одному и по дороге пропрыгать между деревьями и спеть: «Что бы ни случилось, горе иль беда...»

Летней ночью, когда торчать в парадной незачем, мы сидели у моего подъезда на скамейке. В рассеянном зеленом свете фонарей стучали об их скрытые листовые колпаки то ли слепни, то ли стрекозы. Перед домом остановилось, замолкло и зажгло, отъезжая, зеленый огонек такси. «Пошли, я тебя провожу». Мы шли мимо ограды моего детского сада. Фонарь как раз напротив входа.

Над дверью (я раньше не замечал) изображены слон, гусь, собака и петух. Каждый лист – зеленый абажур. Подъезд у Козлевича неуютный. Мы стоим у его парадной: скамейки нет.

– Ну что, когда, наконец, будем команду делать?

– Ты на чем?

– На гитаре. А ты?

– Я на ударных.

– А на басу кто?

– Возьмем Валеру.

– Валера не умеет.

– Научится.

Эту теплую зеленую ночь, это мечтание хочется и можно продолжать бесконечно, как пиво или пляж. Я помню, что должен

пройти сквозь ворота, но никак не останусь один: Козлевич опять провожает меня.

– Давай, – говорю я ему, – сделаем лучше рок-театр. Поставим рок-оперу «Дом». Одна песня у меня уже есть. Про ворота. Не вся песня, только припев. Слова вместе допишем. Я тебе покажу.

Видишь, – объясняю я, – поставим на сцене ворота, как эти два дерева. – Я прыгаю между деревьями и пою: – Что бы ни случилось, горе или беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота. Мои, мои, деревянные. Ну, как тебе?

Козлевич молчит. Видно, ему не нравится песня. Но главное – я сделал то, что должен был сделать, прошел сквозь ворота. И никто, даже Козлевич, не узнал моей тайны.

26

Я не понимал слов любви «диод, триод, переменное сопротивление», которыми обменивались отец с Сашкой, но любил смотреть, как они паяют. Как нож в легкой Сашкиной руке прорезает желто-зеленую изоляцию провода, не повредив ни одной медной жилки. Я любил смоляной дым канифоли, любил смотреть, как из капли припоя уходит жидкий блеск, как припой становится матовым, навсегда зажимая конец провода. Провод, если был припаян к схеме с двух концов, казался в своей толстой желто-зеленой коже нерушимым. Глядя на короткий намертво припаянный с двух концов провод, я думал о дружбе, о нас с Козлевичем. Я вспоминал наши ссоры.

Очередь в сельмаг толстая, кривая и неподвижная, как зимний дым. Подростки такую очередь не выстоят. Мы и не стоим. Стоит мать Козлевича, а мы ждем ее, чтобы помочь нести покупки на дачу. Ей нельзя носить – сердце. У толстой косоглазой матери Козлевича из-под платка торчат черные кудряшки. Козлевич совсем не похож на мать. Мы маячим у забора сельмага: привязанная Жучка, я, Козлевич и парень, типа хулиган, но не местный. Познакомиться подошел.

– Вы с какого района? А я с Выборгской. Спросите у Финляндского – все Аленушку знают.

Действительно, Аленушка – похож и на добра молодца, и на красну девицу. Кудри длинные, белые, ногти длинные, грязные. Кличку бы такую не надо приплатненному, ой, смени кличку...

– Как тут, танцы-то есть?

– Что на танцах топтаться! – бойко отвечает Аленушка. – Я в воскресенье Ленку встретил. Говорю: тебе письмо! Зашли ко мне. Сиськи-письки – и на диван. Х... вы здесь торчите? В Заречном яблочное по рупь тридцать дают!

– Да ждем.

Тут мать Козлевича улыбается нам и делает жест рукой с бидоном.

– Что это за еврейка? – кивает на нее Аленушка, убирая со лба белую прядь.

– Тетка с нашей дачи, – буркает Козлевич.

– Ну, давайте! – Аленушка уходит.

Очередь вдруг тронулась, мать Козлевича уже в магазине.

Я спрашиваю:

– Ты чего, ее стесняешься?

– Пошел ты на ...! – отвечает внезапно отвердевший и ставший похожим на мать Козлевич.

Злость, как старость, обостряет в человеке родовые черты. Злость Козлевича выстреливает мной. Я иду по корням через лес, к станции, покупаю билет, стою на платформе и жду, что если эта сука, которая отрекается от собственной матери и еще смеет ругаться, прибежит просить прощения, я не обернусь. Проходят платформы с сосновыми бревнами. Я стою, пока электричка не увозит меня в город. А через месяц слышу в трубке его голос:

– Вова, извини. Пошли гулять?

Мы идем гулять и гуляем бесконечно долго, мы даже не едем на автобусе, потому что в автобусе не поговоришь, а надо рассказать друг другу все, что случилось за этот месяц.

Назавтра мы едем в Павловск, катаемся на лодке, пьем шесть бутылок яблочного, попадаем в менты, идем на демонстрацию, лезем на крышу, пьем две бутылки водки, идем на танцы в училище Уланенкова, где Козлевич чуть не погибает, просыпаемся и снова идем гулять.

Как-то поздней осенью к нам пристаёт Накрайников из третьего подъезда и начинает ныть, что хочет познакомиться с женщиной. Все хотят, но сколько можно ныть? Мы смотримся в забрызганные холодным дождем витрины – у Козлевича новая куртка, у меня ботинки на платформе. А Накрайников все ноет.

– Слушай, – говорит Козлевич, – у Вовы есть тетя. Хочешь, он тебя с ней познакомит?

– Пошел ты на ... – кричу я Козлевичу.

Мне обидно за любимую тетю. Козлевич оборачивается и уходит. А через две недели я звоню ему и говорю:

– Вадик, извини. Пошли гулять?

Наступает студенческое время, и Козлевич в аудитории с толстыми стенами гробит нашу с ним мечту.

Электрогитара с ухом его не слушается, усилитель фонит, ударник Фауст, завешанный волосами до пупа, рубит песню в капусту.

Приходится кричать, надсаживаясь, и я визжу:

– Ты не умеешь работать с музыкантами! Объясни ему, что он должен играть!

– Что ты лезешь?! Ты-то вообще ни на чем не играешь! – кричит мне Козлевич, а Фауст продолжает избивать барабаны, будто не о нем речь.

– Как будто ты играешь!

– Да пошел ты!!! – орет Козлевич в отчаянии, покрывая грохот.

Я хлопаю дверью и выхожу в тишину. Я свободен на месяц, на две недели, на неделю. Пока он не позвонит и не скажет:

– Вова, извини. Пошли гулять?

И наша дружба – как проволока в проводе, который сгибали и разгибали, пока проволока не сломалась и не повисла на изоляции, но изоляция еще держится, и все, с кем мы пьем: студенты из козлевического института, мои грузчики, одноклассники – видят этот провод между нами: желто-зеленый, как летний день в городе.

27

Способности человеческого организма стремятся к уравновешиванию недостатков за счет достоинств.

Так, у слепого развивается слух, у безногих – руки. Но помимо этих способностей, у людей искалеченных, травмированных или обездоленных развивается способность замечать в окружающих их реакцию на свой недостаток, свою особенность.

Здесь и деревенский житель, попавший в город. Здесь и еврей, постоянно сознающий, что он еврей, и отгадывающий к себе отношение. Здесь и заики, косоглазые, несостоявшиеся ученые и спортсмены, болезненно реагирующие на все, что имеет отношение к их «большому месту».

А теперь перехожу к человеческому достоинству, вещи реальной и довольно щекотливой. Так вот. Когда вступаешь в контакт с одним из таких людей и замечаешь его «травму», то невольно преувеличиваешь чувство зависти, которое вызывает твоя «полноценность». И ощущаешь свое превосходство. Зачастую даже не надо ни одного слова, чтобы болезненная чувствительность травмированного человека определила это, и даже в еще большей мере, чем есть.

Соседство двух людей, каждый из которых знает, что другой про него думает, это соседство затрагивает вопрос человеческого достоинства. И оно в конечном счете объясняет такие факты, как хулиганство, беспричинные поступки, склоки и т. д. и т. п.

28

Очередь к окошку приемщика длинная, темная, тихая. Уксусный холодный запах. Передо мной бабка с авоськой. В авоське – три пивных бутылки. Перед бабкой – два веселых друга, кудлатый и нестриженный, с выцветшим, распертым стеклотарой рюкзаком. Перед ними – человек то ли двадцать, то ли тридцать. Да хоть три. В любую минуту приемщик может закрыть и вообще уйти: бывало. Бутылки идут в окошко, звякают о дерево. Бутылки, не прошедшие экзамена, приемщик аккуратно (себе) спускает под прилавок. Падая в опилки, они издают слабый прощальный звук. Баночки в сетке звенят друг о друга, как висюльки плебейской люстры. Счастливец у окошка никогда не кончит строить свои фуфыри в ряды. Стоп. Теперь ловит петелькой пробку. Дома не мог.

Окошко закрывается.

Вместо розовой серьезной очкастой рожи приемщика, похожей на отражение в бутылке, – лист фанеры.

– Что там?

– Тару принимают.

– Ну, еще на час.

Никто не уходит. Будут ждать и час, и год. Каждый верит и не верит, что и он отойдет от окошка налегке, размазывая по рублям на ладони горстку серебра.

Фанера отодвигается. Приемщик абсолютно нетороплив и негромок.

– Что? Что он сказал?

- Ноль семь не принимают?
- От вермута не будут принимать.
- Водочные сегодня не берут.

Все в очереди уверены, что приемщик – вор, что он мог бы работать быстрее и не тянуть зря наше время, но все, и я тоже, уверены, что так нужно. А еще мне интересно, как этот человек попал в приемщики? Кем он был раньше? Как ладит с властями? Ведь в любом важном человеке чудится тайна.

В один прекрасный вечерок открываю на звонок, и Шковский представляет очкастого в дубленке:

– Коля!

Коля кажется мне очень-очень знакомым, но я не верю, что такая фигура, как приемщик посуды, вместо того, чтобы есть с мясниками икру палехской ложкой и заказывать оркестру «Боже, царя храни», решил угробить вечер в моей хавире. Пялюсь на него, как на девицу. Коля усмешается, трогает дужку очков.

– Узнал? В приемном пункте работаю.

Разного народу за столом много, но я все смотрю на Колю. Приди ко мне Достоевский, я бы так не удивился. Да и что толку с покойного гения: ты будешь его благодарить, а он только моргать мертвыми глазами. Живой приемщик лучше, что Коля и доказал, уходя. Уходил он (раз я еще что-то помню) не поздно и сказал мне:

– Придешь тару сдавать – не стой в очереди. Позвони со двора. Я приму.

Весь вечер Коля помалкивал, шлепал картами, прихлебывал из стакана коньячок, что сам принес, поправлял очки и посматривал. И не только не приоткрыл своей тайны, но оставил мне еще два вопроса:

1. Зачем приходил?
2. Что за странная пара: Коля и Шковский?

29. Ягоды морозко

Давишь бусы белых ягод, за год не узнав их имени. Белые ягоды висят на кустах долго, с июля до снега, может, и под снегом висят, но коротко время, когда они громко и упруго щелкают под ногой. Сейчас как раз такое время. И, если сорвать горсть белых ягод, кидать по одной на серые плиты, которыми вымощена площадка перед библиотекой, шагать и давить их, так чтобы на одну плиту приходился один шаг и одна ягода, может быть, удастся расположить на плитах по одной мысли, удастся понять, как все это случилось: троллейбус, джинсы и карты. Как мы разбили троллейбус. Откуда взялся долг чести. За что я должен Коле-приемщику.

Давлю первую белую ягоду. Появляется Саня. Но Саня трезвый. Поэтому свою фамилию он может выговорить только с третьей попытки:

- Бастов!
- Что?
- Астров.
- Как?
- Быстров!

Саня грузчик на хлебозаводе, не в отделе снабжения, где я, а на мешках. Саня – большая, с жемчужным отливом, туча. Он рвется рассказать, но не находит слов. Его руки двигаются, как бельё на ветру, молнии в глазах не могут освободиться. И голос у трезвого Сани как мышь. Саня просит, будто по мешку скребет:

– Сходи, возьми перцовки. Пока не разгрузим – не могу отойти.

Приношу. Пью свои полстакана. Остальное грузчики выпивают из горла, а бутылку бросают за мешки. Моя смена кончается, Санина – нет.

– Слушай, возьми еще одну.

– Пополом.

Саня с напарником успевают разгрузить еще машину. Я жду с бутылкой.

Сумерки. Жизнь на рампе к вечеру беднеет. Хлеб пекут днем и ночью, но на рампе после пяти пусто. Ушел черноглазый, черноусый, в белой куртке и колпаке, что целый день, сладко улыбаясь, посиживал на табуретке, чпокал – вскрывал банки сладкого болгарского компота и сыпал вишни на решето.

Дворник по кличке Полковник бросил до завтра загонять в поимную ограду пружинистые коробки, снял прорезиненный фартук, переоделся и ушел, уродливый, как все работяги в нерабочей одежде.

Гордый маленький армянин, что развозит по спецраспределителям спецторты, бросил посреди двора свой пикапчик, как аристократ испачканную перчатку.

Даже вонь миллиона яичных скорлупок притихла.

На рампе скучно. Не только день кончился. Лето кончилось. Веселое лето, когда едешь с шофером за коробками, а он кричит каждой проходящей: «Эй, красивая! Телефончик дашь?» Каждый вечер – в гости, или ребята приводят ко мне кого-нибудь нового, какого-нибудь бизона Никиту, и по пьянке на правах хозяев хлопают его по плечу, кричат: «Никитушка! Детушка!» – и хохочут. Утром на работу с легкого, как газировка, юного похмелья. Зарплата. Идем с Саней Быстровым после рюмочной, из кустов – блеск и тихий стон. Это наш начальник, Александр Сергеевич, лежит, как жук, на спине, ножками дрыгает, мяучет жалобно и очками блестит. Подняли, довели до метро, он обнимает, целует: «Спасли! Не забуду!»

И неважно, что Сергеич вороватый партийный снабженец, Саня природный работяга, а я интель. Стоит лето свободы, равенства и братства, которое козлы-французы при помощи гильотин хотели растянуть на всю человеческую жизнь. Гильотина-то режет, а не растягивает.

Наше лето прошло, как поезд. В воздухе осень. Под спецовку нужно поддевать свитер.

Грузчик Серега, что все лето шустрил, воровал, хвастал, что скоро купит с новой худощавой женой румынскую мебель, развелся, все пропил и не здороваётся.

Нужно двигать отсюда: не зимовать же на рампе. Но двигать некуда. Я не уйду, пока туча вроде Быстрова не треснет молнией по бетону и железу.

Пьем стоя, Саня рассказывает еще тихо, но молнии из его глаз уже сверкают.

– Сидел я со своей, и Лелик из подъезда со своей. Ну, я забалдел, прилег, чувствую, моя меня тянет, поехали! Ну, поехали. Проехали. Открываю глаза: а это не моя, а Лехина!

– И что было?

– Ничего. А что моя скажет? Сама с соседом ушла! Сколько времени?

– Без пятнадцати закрыто!

– Беги, возьми еще одну!

– Не успею.

– Успеем. А ну, поехали!

Хлебная машина у рампы. Ключ в зажигании. Сколько я отъездил с шоферами на таких машинах. Я сижу рядом с Саней, как будто он шофер. Как будто у него есть права. Как будто он умеет водить. Саня вырывает к проходной, машет рукой, кричит вахтеру. Мы за воротами. Мы в переулке. Винный блестит витриной за проспектом. Рывок. Удар. Звук стекол. Искры с вилки троллейбуса, в который мы въехали. Троллейбус вроде был темный, пустой. Без пассажиров.

30

Саня левой держится за руль, правой вытирает нос. Непорядок: сопла красные, вокруг гудят, машина не едет. Саня думает, а я прыгаю на хрустящий троллейбусными стеклами асфальт. Троллейбус странный, типа учебного. Еще страннее, что водитель даже не интересуется вылезти: ведь не убили же мы его. Открывается задняя дверь, и вместо шофера по ступеням сходят наш начальник Александр Сергеевич, Прохор и Коля из приемного пункта. Они держатся как представители разных ведомств, зачисленные в ревизионную комиссию. Ехала комиссия ревизовать мою душу – и вот приехала. Прохор, Коля и Александр Сергеевич становятся вокруг меня, как римская публика вокруг арены.

Я уже понимаю, что водителя у троллейбуса нет. Вернее, у этого водителя целый парк троллейбусов, и управляет он ими дистанционно.

Первым выступает, холодно блестя очками, Александр Сергеевич:

– Слушай, Ложкин. С Быстровым все ясно. С тобой – пока нет. Почини мне грузовик и гуляй на все четыре стороны.

– Сколько это?

– Четыре сотни, – он показывает четыре пальца.

– Что вы, Александр Сергеич, откуда у меня?

Вступает Прохор:

– Вписывайся! Тут сдают партию, тридцать пар мальтийских джинсов по восемьдесят рублей. Джинсы отличные, я видел, уйдут по двести. Продавец иногородний, хочет быстро спихнуть. Мы с Козлевичем берем двадцать пар. Ищем третьего. Скинешь десять штук – и за троллейбус отдашь, и на всю зиму хватит.

– Ты что, Прохор? Где я восемьсот рублей возьму?

От двери разбитого троллейбуса отделяется Коля и молча кладет, будто впечатывает мне в руку, странно тяжелый конверт.

31. Вокзал

Мы стоим перед фасадом вокзала, у входа в метро, и смотрим, как текут, не смешиваясь, два пассажирских потока: в метро и на вокзал. Пассажиров вокзальных, отъезжающих, видно не только по чемоданам, которые они торжественно и неумело прут, оставив от тела, чтобы не помять отглаженные дорожные одежды. Лица отъезжающих серьезны, собраны и экстерриториальны, как экстерриториален вокзал. Глядя на его классический фасад, не верится, что за этими полуколоннами, за стрельчатыми окнами спят на скамейках деревенские в пиджаках, а в буфете за мраморными столиками стоит цыганская семья, мужчины и дети в растянутых тренировочных штанах, с лицами в разводах загара и грязи, лупят о мрамор крутые яйца, и странного в них только абсолютная естественность, с которой они живут в вокзальном буфете. Изредка проходит железнодорожник в черной шинели, с пухлым белым лицом, в котором служивое сочетается с блатным. Железная дорога, как прожилка другой, не городской породы, протиснулась в самый центр города и основала здесь свою колонию, со своим временем и своими людьми. Вокзальные, железнодорожные ходят в город, но осторожно и ненадолго.

У пассажиров метро тоже есть общее выражение. Я пытаюсь понять его, а Прохор и Козлевич вертятся во все стороны: человека с джинсами все нет. Уланенков, которого прихватили для солидности, мрачно возвышается и иногда сплевывает на асфальт, отсчитывая свое внутреннее время.

Мы не заметили, как подошел продавец. Может, он так и стоял рядом с нами, в странной согнутой и свободной позе, поставив ногу в кожаной сандалиии на скамейку. Он в черных очках на широком лице, с узким горбатым деревенским носом и широким тонкогубым ртом, похожим на нарисованную улыбку. В рубашке и тех самых мальтийских джинсах. Он, глядя в сторону проспекта, пожал руки Козлевичу и Прохору.

– Бабки при вас? – спросил он тихо и абсолютно внятно. – Спустимся в метро. Я пересчитаю, выйду и позвоню человеку. Он встретит вас на Пушкинской, отведет на квартиру. Там отдадите бабки и возьмете товар.

Продавец распрямился и пошел к метро, а мы, как котята за кошкой, повлеклись за его широкой прямой спиной.

Сейчас эскалатор доведет нас, наконец, донизу, человек в мальтийских джинсах уже пересчитал деньги и сейчас свернет направо и по соседнему эскалатору поедет наверх, звонить, а мы двинем налево, к поезду на Пушкинскую. Но эскалатор все не кончается, заторможено проплывают бронзовые факелы фонарей в белых колпаках. Что не так, что жалит меня? То, что фарцовщики – мальчишки, а наш продавец – мужик? Нет. Что когда он считал на колене наши деньги, нога его на секунду соскочила со ступеньки, рука с пачкой сторублевых съехала с колена и на секунду ушла вниз? Да нет, не это.

А вот что: фарцовщики – ребята городские. Они встречаются на Галере, у Казанского собора, в барах. Фарцовщики никогда не назначают встреч на вокзалах. На вокзалах встречаются совсем другие люди.

32

– Граждане, не бегите по эскалатору!

– Не бегите по эскалатору!

Мы молодые. Мы можем. Бешеным бегом вверх по эскалатору мы не просто разбудили, растолкали похожую на картофельное пюре в мундире дежурную. Мы ее разозлили.

– Вызываю милицию!

Куда тебе! Мы уже наверху. Впереди Прохор. В руке у Прохора сэндвич: между двумя сторублевыми – пачка белой бумаги. Восемь минут назад, по дороге вниз, человек в мальтийских джинсах сунул ему пачку со словами:

– В порядке. Убери и не светись.

Прохор подчинился гипнозу. Гипноза хватило на пять минут. На Владимирской, только выйдя из поезда, он вытащил пачку, щелкнул ей, как колодой, и сразу бросился, и мы за ним, в закрывавшиеся двери поезда, шедшего назад, на Пушкинскую. Десять минут назад мы сошли в метро вслед за продавцом. Он вел нас. Теперь нас ведет Прохор. Мы выбегаем из метро. Перед нами проспект. Слева и справа – перекрестки. За нами – вокзал. Гада в мальтийских джинсах можно с равным успехом искать где угодно. Прохор бежит мимо вокзала, к путям, мы за ним. Проскакиваем через камеру хранения. От перрона медленно отходит поезд. В дверях последнего вагона стоит проводница с тяжелым, как осеннее ленинградское небо, взглядом. Мы догоняем предпоследний вагон. В дверях его, держась за поручень, проводница с лицом бледным и сырым, как ком вагонных простыней.

– Спроси ее, – кричит Прохору Козлевич, – спроси, человек в джинсах не садился?

Но Прохор пробегает мимо проводницы предпоследнего вагона, догоняет уже третий вагон, и Козлевич кричит проводнице третьего вагона, маленькой живой брюнетке, которая единственная на нас смотрит:

– К вам не садился в джинсах, в черных очках, высокий?!

Проводница кричит что-то в ответ, морщит лоб, спрашивает, но поезд пошел рывком, третий вагон уносит вперед, предпоследний, последний безнадежно обгоняют нас. Виляя кормой, уходит последний вагон. Мы бежим за его дрожащим задом с дверью.

Мы еще бежим. Все. Отдышаться. Мы на перроне одни. Отдышаться бы. Нет, мы не одни. Навстречу малорослый чурка в кепке, с огромными сумками: одну еле волочит по перрону, другую тащит на плече. Прохор сбивает с чурки кепку. Чурка, вскрикнув, понимает, что сейчас будет. Уланенков кидает сумки с перрона. Чурка прыгает за ними. Только бы отдышаться. Вокзал – далеко. Дома за путями, за деревьями, настоящие старые городские дома далеко. Мы не на вокзале. Мы не в городе. Мы на железной дороге. Мазутный воздух в аэродинамической трубе. Болит, колет в боку.

С другой стороны перрона стоит одинокий какой-то старый вагон. Мужик в дверях передает мужику на перроне ящики с бутылками. Мужик на перроне ставит их на тележку. Тот, что в дверях, поднимает на нас взгляд. Взгляд оживает. Это Коля, приемщик бутылок.

– Какие люди! – немного театрально восклицает Коля. – Заходите! Толик тару отвезет, а вы пока заходите. Пулю распишем.

Прохор лезет в вагон. Уланенков, пригнувшись, лезет в вагон. Козлевич поднимается в вагон.

– Стой! – говорит мне голос, – не ходи!

Я берусь за холодную железную ручку и поднимаюсь в вагон.

33

– Вы что, кросс бежали? – спрашивает Коля.

Мы в странном вагоне. Видно, что вагон был купейный, но перегородки всех купе, кроме последнего, разобраны. Кажется, если уж построили вагон купейным, то и на свалке он останется купейным. То, что человек может пользоваться купейным вагоном как своим складом – нормально, но когда он возьмет и разберет перегородки – это поражает и даже возмущает, кажется наглостью.

У окошек – ящики с бутылками.

– Заходите! – Коля ведет нас в единственное уцелевшее купе.

На полу вытертый ковер. У окна – приставной столик. Коля вносит, держа веером, горлышки между пальцами, четыре уже открытые бутылки пива. Над горлышками легкий дымок.

Голос стремительного Толика из коридора:

– Ну, не начали без меня? Кто пулю пишет?

– Да видишь, они сегодня и писать-то не могут. Подрались, что ли.

– Шестерки не изымать, значит? Тогда давайте в покер!

Мы садимся за приставной столик вчетвером: я – рядом с Колей, напротив нас Толик и Прохор.

Козлевич все не переварит шок, для Улы покер сложноват. Он и в очко-то путается.

– По рублю?

В покере деньги на столе. У меня есть чудом не пропитая пятерка.

Разменять.

Коля достает лопатник и уверенной рукой человека, в кошельке которого всегда есть деньги, точным движением человека, с деньгами работающего, мгновенно извлекает пять рублевых.

На одной блестит кусочек изоленты.

– Колода новая, – говорю я своей внутренней сигнализации, которая пронзительно свистит, а я все пытаюсь ее отключить.

– Эй, ты себе шестую сдаешь! Точно, дрались с кем-то.

Все взяли прикуп. У всех серенько. Только в черных глазах Прохора мелькнули два туза и джокер. Я – пас. Коля – пас. Толик – пас. Единственный рубль Прохора учетверился.

Вторая раздача. Прохор ставит четыре. Теоретик Шковский, никогда не игравший больше полтинника, с умным видом открыл мне закон покера: выигрывает тот, кто играет с учетом карт противников.

Коля ставит шесть. Толик ставит восемь.

Я никогда не учитывал карт противников, потому что в покере их не видно, но всегда смотрел, с кем играю.

– Вадик, одолжишь пятерку?

Козлевич дает пятерку. Я беру банк и ставлю двадцать.

Проход больше не играет: не на что. Он только сжимает и разжимает кулаки.

Я играю с Колей и Толей. У меня тройка. Беру прикуп. Фуль.

Толик очень похож на Колю, но пружинистей, суше и принципиально проще. Он зачем-то взвинтил ставку и вышиб из игры Прохора, но азарта в нем нет.

Коля – пас. Толик – пас. Беру шестьдесят. Ставлю шестьдесят.
– Восемьдесят, – говорит Коля.

У Коли есть азарт. Нет, скорее интерес. Я чувствую: если выпустить из Коли этот интерес – от Коли останется Толик.

– Пас, – говорит Толик, – открываемся.

Я взял двести. Раздача. Прикуп. У меня тройка. Я сгребаю выигранные бумажки, чтобы снова бросить на стол, на кон. Проход наступает мне на ногу. Да пошел ты.

Коля – пас. Толик прибавляет: двести пятьдесят. Открываемся. Я проиграл все. Толик по-хозяйски прихлопывает деньги, двигает ими по столу, но почему-то не забирает. Он ждет. А Коля довольный, мягкий, будто не двести просадил, а коньячку выпил:

– Все, ребята, с меня на сегодня хватит. Вы продолжайте, если хотите. Толюнчик, сыграешь с Вовой на запись?

– Как скажешь, – отвечает Толик.

Прохор резко жмет мне на ногу, как на тормоз отцовской «Волги».

– Иди ты на! – кричу я ему, в первый раз чувствуя то, что чувствовали сидевшие у меня вечерами картежники.

Знаю, Проход выигрывает тот, кому наплевать. Я всегда выигрывал, потому что играл холодно. У меня десятирублевую игру тянули полночи. Мне было плевать, кто возьмет десятку, которую мы потом пропьем. А сейчас я сам стою на кону. У тебя-то краб в мальтийских джинсах откусил восемьсот папиных. За Козлевича долги отдаст его семья. А за меня – никто. Я обязан выиграть – значит, шансов у меня нет. Хочешь спасти – сделай скандал, дай мне по морде! Я же тебя послал!

Поздно. Раздача. На столе – ворох денег и обрывок газеты. Пятьсот рублей Толика и край газеты с чернильной цифрой «500», написанной моей рукой. Прикуп. Ура! Стрит!

– Шестьсот! – кричу я, но Толик сухо качает головой.

– Стоп, – говорит Толик, – открываемся.

У него покер.

34

Я не помню, как я попал в проходную комнату. Это странная комната: в ней нет ни дивана, ни стула, ни стола, а только четыре закрытых двери. Правая дверь открывается, и входит Толик.

– Слушай, я в Гурзуф еду, – говорит он. – Ты когда отдать сможешь? Я месяц жду.

– Да видишь, у меня сейчас нету.

– Как это нету? – смеется Толик. – Про долг чести не говорят «нету». Я в аварию попал, лежал в палате с одним татаринном, который карточный долг не отдал. Его так сделали, что теперь милостыню просить может: с палочкой ходит и на ходу ссытся. А ты «нету». У меня билет на пятое. Когда отдашь-то?

Я киваю Толику и открываю левую дверь, но прямо за ней, безлично блестя очками, стоит начальник отдела снабжения Александр Сергеевич. В руках у него маленькая грифельная доска. На доске крупно написана мелом цифра «400». Четыре сотни, которые я должен сунуть Александру Сергеевичу, чтобы не пойти по делу о хлебной машине и троллейбусе. Александр Сергеевич молчит, выставляя руки с протянутой доской. Для того чтобы его не видеть, достаточно просто захлопнуть левую дверь. Что я делаю – и опять попадаю в проходную комнату, где ждет моего ответа Толик.

Распахиваю третью дверь. Кабинет. Брыластый мент взглядом поверх очков в тяжелой оправе ставит на мне галочку и медленно, по бумаге, читает: «Ложкин Владимир Сергеевич. 1958 г. рождения. Беспартийный. Среднее. Тунеядствует (статья 158 УК РСФСР, до трех лет ИТР). Содержит игорный притон (статья 234 УК РСФСР, до пяти лет ИТР). Поддерживает связи с неоднократно судимым Уланенковым и подследственным Овчинниковым. В случае отказа помочь следствию, – мент поднимает на меня глаза, – пойдет по двум статьям».

Ломлюсь назад. Осталась последняя дверь. Узнаю ее по новой дерматиновой, с не потускневшими еще гвоздиками обивке.

Это дверь между моей половиной и половиной отца и брата. Я звоню. Тихо. Ни отец, ни брат не помогут, но, может быть, поможет сам наш дом. Я прижимаюсь ухом к новому, еще пахучему дерматину. В глубине слышен голос радио и как будто звук льющейся воды. Я еще раз звоню. Шаги. Дверь открывается. За ней не отец и не Сашка. За дверью – Сашкина жена, Марина.

35

Степени родства в русском языке обозначаются какими-то полузверинными словами: деверь, свекровь, теща, сноха, свояченица. В голову лезут рогадины, ухваты и семейная дедовщина. Родное вообще все какое-то утробное, кишковое и для человека деликатного, человека со вкусами, ценящего свои вкусы, крайне неудобное и нежелательное. Человек деликатный, интеллигентный ищет родства по душе, а не по кишкам. Ну и что, что наши родители нас родили? Это люди не нашего выбора и не на наш вкус. У человека тонкого, не уверенного в том, кто он есть, личность, как бакенами, очерчена предпочтениями, и часто, чтобы напомнить себе, кто я, приходится вспоминать, что, мол, люблю я Моцарта и рассказы Бунина. Это я. А родителей мы не выбирали. Не будь они нашими родителями – они бы не стали нашими друзьями. И Марину я не выбирал. Но когда я вижу Марину, я вижу радугу. Мир кажется домом, как мой внутренний островок. Но стоит сойти с этого островка, стоит случиться хотя бы маленькой неудаче, и я проваливаюсь в холодное черное болото. А в болоте согревает только спирт.

36

– Может, тебе уехать? – спрашивает Марина.

Мы одни. Марина всегда накрывает на стол, даже если гости собираются попить воды. Она постелила под чашки салфетки,

пачку «Стюардессы» вынула из сумочки и сумочку зачем-то положила на стол. И эту сумочку, сильно похожую на женскую душу, все время застегивает и расстегивает.

– Мы бы с Сашкой тебе дали, но мы только что первый взнос выплатили. Ничего не осталось, – Марина расстегивает сумочку, как будто хочет показать, что там не лежат три тысячи рублей, и я вижу блестящий край шелковой подкладки. – И отец, боюсь, не даст. Он тебе просто после всего не поверит. Но должен же быть выход! – Марина достает зажигалку. – Что же, сидеть и ждать, пока тебя убьют или посадят?

Марина застегивает сумочку, и все секреты ее души, в существование которых я так верю, а именно: кошелек, косметичка и пропуск – остаются в темноте, внутри.

Хорошо, Марина, я уезжаю. Я беру билет не от Витебского вокзала, а от станции «Воздухоплавательный парк». Я еду туда на автобусе, жду поезда на платформе и вхожу в третий от хвоста вагон. Больше никто на этой платформе не садится. Маленькая черненькая живая проводница показывает мне мое купе. В купе за столиком двое: Уланенков и человек с широким узкогубым ртом и деревенским носом. Он по-прежнему в темных очках и мальтийских джинсах.

Я присаживаюсь на край нижней полки, а двое, как будто не замечая меня, по очереди отпивают из банки, которая стоит на столике.

– А первую ходку где ты был? – спрашивает Уланенков.

– В Токсово, на общем.

– Я тоже там был.

– Потом раскрутился, стал сидеть – класс. Ну-ка, ты, студент, – Узкогубый поворачивает ко мне танковую башню своей физиономии со страшными черными стеклами, щелью рта и орудием носа. – Пойди возьми у проводницы таз и кипяточку. Щас жопу тебе будем парить, очко рвать на фашистские знаки!

Уланенков ухмыляется и делает глоток из банки, а я на дрожащих ножках выхожу из купе, воробыным летом из тамбура возвращаюсь домой и говорю Марине:

– Нет, Марина, лучше мне не уезжать.

– Вспомнила! – Марина опять расстегивает сумочку. – У меня дядя геолог. Хочешь, он тебя устроит в партию, на север? Он работал и с бичами, и с бывшими зеками. Говорит, люди как люди, только спиртного им давать нельзя. Так у них в партии сухой закон.

– Нам с Сухим Законом в одной партии тесно будет. Не уживемся.

– Ну ладно, не можешь в партию, беги в будущее! Переждешь – вернешься.

– Знаешь, Марина, в мое будущее лучше не соваться.

– Ну, в прошлое, в детство. Ты же можешь! Я-то, кроме страшилок из пионерлагеря и манной каши насильно за бабушку, за дедушку, вообще ничего не помню, но ты помнишь, по глазам вижу.

И в детство, Марина, я не хочу, но есть одно место, куда я попробую уйти. Это мое место. Место это недалеко, в пяти автобусных остановках.

Тайная Железная Дорога начинается за гаражами, такими старыми и страшными, что, когда их ворота закрыты, непонятно, что за машины могут там стоять. Но сегодня ржавые двери крайнего гаража распахнуты и дядька в ватнике, в темно-серой кепке навис над открытым капотом «Москвича». На улице легче работать, лучше ходить вокруг машины с ключом в руке, брать другой ключ, поглядывать и примериваться. Звякает о капот торцевик. Я прохожу мимо. Мужик смотрит косо: куда это ты идешь, зачем лезешь в наши кусты? А ты сам-то, дядя, чего не на работе? Чего устроил гаражную медитацию в рабочий день, когда все на производстве? Дядя, как бы оправдываясь, делает несколько ныряющих шагов в сторону гаражной коробки, и я вижу его страшную протезную хромоту. Лезу в кусты, раздвигаю их. Вот они, рельсы. Шпалы поймали меня, я иду по шпалам, расстояние между ними уже моего природного шага, и назойливый, навязанный ритм шагов отгоняет тяжелые мысли. Пространство вокруг освобождается, стена вырастает справа, за насыпью, из разбитых окон завода медленно поднимается белый пар.

Оп-па! У задней проходной стоит, держа на животе сумочку, Инна. Инна смотрит на часы. Она во всегдашнем своем круглом вязаном берете. У нее широкое молодежское лицо. Уже десять минут как обеденный перерыв, Инна ждет, что я выйду из проходной, и мы, абсолютно одинокие на этом заводе, пойдем в пирожковую. Я буду жевать большой вкусный печеный пирожок с мясом, слушать рассказы Инны про ее сына, красавца с волнистыми кудрями, наркомана и вора, и чувствовать себя уверенно: есть на свете прощание и похуже меня!

Я не хочу подходить к Инне, я хочу быть один. Но и прятаться некуда. Я иду по шпалам сквозь Иннин взгляд. Она не видит меня. Она еще раз смотрит на часы и, жалко склонив большую голову в большом берете, идет в сторону пирожковой по дорожке, параллельной рельсам. Мы доходим до проходной «Техприбора» и видим, то есть я вижу сладкую парочку, коротконового Юру и дылду Виталика. Виталик несет покрывало от «Жигулей». Мои товарищи направляются в пивной зал. Сейчас они меня заметят и потащат с собой. Но меня как будто нет, и Виталик продолжает, наклоняясь к Юре, на ходу ему втолковывать, а Юра говорит: «Ты покрывало по полу волочишь». Вот проходная хладокомбината выбросила порцию грузчиков, которые, разгрузив вагон, валят в гастроном, а нарядчик кричит: «Одного на бочки! Не хватает одного на бочки!» Сейчас он поймает меня и завернет – ворочать бочки. Я пригибаюсь и подныриваю под взгляд нарядчика.

Толпа знакомых и полужанких вокруг меня растет. И, хотя я один иду по шпалам, а все они – по полузаросшим асфальтовым дорожкам вдоль рельсов, я не один и вместо покоя Тайной Железной Дороги я чувствую нарастающий страх. Я боюсь, что меня, наконец, заметят, остановят и уведут. Только бы дойти до Лиговки. Лиговку не перейдет никто из них. И вот я на Лиговке, у стен завода «Союз». Поработав здесь, я первый раз в жизни захотел убить. Окна цеха открыты, в цеху идет профсобрание, работница, не пе-

реставая, кричит: «Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы! Рыба гниет с головы!»

Там, где Лиговку пересекают рельсы, нет пешеходного перехода, но машины притормаживают. Два подростка, две щенячьих физиономии смотрят на меня сквозь мутноватое окно «Икаруса». Один – Козлевич. Другой – да это же я.

За Лиговкой я, наконец, один. Кусты. Шум явной железной дороги справа. А оттуда, куда я иду, сжимая надежду в кулаке, нарастает другой шум. Это шум экскаваторов, бульдозеров, шум поворачивающейся механической лопаты. Но я иду. Я все понял, но не бросаю надежду на землю, как пустой кулек из-под карамели. Вот и холм. На холм уже нельзя залезть. Можно только подойти и посмотреть, как бульдозеры превращают место, где я в детстве зажигал и надеялся сейчас зажечь свечу, место, где я думал спрятаться, в платную автостоянку.

38

Я опять сажу за столом напротив Марины.

– Я не смог, – отчитываюсь я, – зажечь свечу.

– Какую свечу?

– Ну, – не стану же я рассказать Марине про Тайную Железную Дорогу, – я думал спрятаться в одном месте, но этого места больше нет. Его разрушили.

– Слушай, – спрашивает вдруг Марина, – а правда, что ты пишешь?

– ...

– Дал бы почитать.

– Ты мой почерк не разберешь.

– Неужели у тебя напечатанного нет?

Нет у меня ничего напечатанного и не будет. Марина, однако, не отстает.

– Ну, сходи, принеси, почитай мне что-нибудь. Или, – Марина видит, что я боюсь выйти из комнаты, – или давай я принесу! Где у тебя?

– Картонная папка. В столе, в верхнем ящике. Только сама не открывай!

И вот я развязываю тесемки и читаю:

Радикуль

Вы знаете, что такое радикуль? Я не знаю. Но радикуль-то я знаю. Хоть и не знаю, что означает это слово. Мне ничего от радикуля не надо. И он ничего не требует, хоть и живет во мне. Я почти люблю его, радикуль. За то, что он живет и ничего не означает. Он никакой. Он нуль, но он есть. Иначе я бы не знал его. А еще я рад, что даже знать не хочу, кто он. Я рад, что мне наплевать и все равно. Я одного хочу: чтобы все стало радикулем. Чтобы было много-много радикулей и ничего больше. Я сам хочу быть радикулем и ничего не означать, но все-таки жить. Потому что умирать-то страшновато, а радикулем – в самый раз. И живешь, и ничего тебе не надо, и от тебя ничего не требуют. Знаешь, что радикуль – и все. И не подкопаешься под ме-

ня. Я радикуль – и все. А больше ни-ни. Я сам по себе. Вот так-то. Живите, как знаете, а я радикуль.

Марина закуривает сигарету, причем ее цель – не закурить, а произвести серию действий, оттеняющих мысль, дать себе время подумать и не выглядеть размышляющей.

– Почитай еще что-нибудь!

– Хорошо. Вот:

Окно

В палате было только одно окно. Белое старое окно. Теперь такие не делают. Двойное окно с форточкой. И нянечка, когда открывала ее, залезала на подоконник. За окном со своей кровати я видел только небо. Небо бывало разное. Но почти всегда серое, затянутое тучами. А если прояснялось, то становилось еще хуже. Не хотелось смотреть в холодную голубизну сентябрьского неба. И все-таки я смотрел и смотрел. Я болел долго и знал уже каждую трещинку в потолке, каждую царапину на стенах. Но наконец меня выписали.

Я вышел, качаясь на слабых ногах, пьянея от сырого свежего воздуха. Я широко раскрытыми глазами заново видел улицу, прохожих. Я оглянулся напоследок, ища взглядом свое окно. Но больничный дом был старый и большой, и очень много окон, старых и белых. Которых уже не делают.

Кто-то в них смотрит сейчас?

– Слушай, а ты молодец, – произносит Марина, глядя на меня по-новому, как человек, который вдруг понял, что проглядел что-то важное. – А ты пробовал кому-нибудь показывать?

– Кому?

– Ну, есть же литобъединения молодых писателей?

– Был я в таком объединении. Сидят пятнадцать ворон, смотрят в пол. Никому начинать неохота, потому что начавшего будут драть. Наконец залетный попугай читает: «И вроде зарплата двести, и вроде себе господин, и вроде со всеми вместе, а только совсем один».

Старший, что рядом с гуру, открывает клюв и каркает: «Первая рифма слишком ожидаема...» И налетает на бедного попугая стая ворон, и рвет из него цветные перья...

– Ну, Шковского же напечатали. А Шковский хуже тебя пишет, какие-то статьи, опросы.

– Понимаешь, Марина, писатели делятся на нормальных и подпольных. Конечно, и нормальные писатели не те люди, что покоряют север, взрывают мосты и в темных комнатах полуразрушенных домов обнимают дрожащих балерин. Они это описывают в надежде получить за свою писанину весь мир и иногда получают похвалу в журнале, блондинку-машинистку и продуктовый набор с сервелатом. Нормальный писатель живет в мире и радуется, когда мир его заметит.

А подпольный писатель существует в мире своей мечты и, даже если в его комнате столпятся журналисты, фотографы и члены Нобелевского комитета, будет моргать и недоверчиво щуриться на них, как на загробные тени, будет жаться к стене и при первой возможности выскользнет в дверь и убежит. Потому что в своем

мире он и так давно лауреат, а гости извне только мешают. Так вот я – подпольный писатель.

– Но есть же еще, – Марина понижает голос, – самиздат!

– Ты думаешь, в самиздате другое?! То же самое. Смотрят на тебя, как на вошь. Да вообще на тебя не смотрят. Он Бердяева не читал! Он Коку не знает!

– Ну слушай, нельзя же так сидеть! Пробиваются же люди. Если у тебя талант, ты не должен его зарывать в землю!

– Кому это я должен?! Это вы должны меня искать, а не я вас! Но всем насрать! Вам на меня насрать!

– Не ругайся!

– Да тебе же первой насрать! – кричу я и с радостью вижу, что это неправда. – Вы все хорошенькие, а я сволочь! – выходит неубедительно, как у ребенка, у которого мотор истерики по-настоящему еще не завелся.

Я завожу мотор истерики, как заводят бензопилу. Я кричу, что все любят Валеру за фирменные трусы. Это правда. Я ору, что все любят Сашку – это неправда. Сашку скорее уважают.

– Построили железный занавес: вы здесь – я там!

Это правда.

– Хотите только, чтоб я сдох и комната освободилась!

Похоже, увы, на правду.

– С тех пор как матери нет, я вообще один!

Марина оставляет, наконец, в покое свою сумочку. Правда и неправда моих воплей сливаются в ее широко открытых глазах, как явная и Тайная железные дороги. Они сливаются, как реки, и ветка в месте их слияния становится шире. Потому что отсюда идет поезд любви, а поезду любви нужны особые рельсы. Марина встает. Сейчас она войдет в вагон. Она гладит мои волосы. Я обнимаю ее, еще сидя, я встаю, обнимаю ее и чуть не отшатываюсь от неожиданной улыбки счастья, от света счастья на ее лице с закрытыми глазами. Это счастье женщины, которая после работы пришла с сумками на вокзал, чтобы, стоя в набитой электричке, два часа ехать на дачу, где недовольная свекровь в клеенчатом фартуке варит детям щавелевый суп, и вдруг увидела ясноглазый, свежеекрашенный сине-зеленым, дрогнувший, чтобы тронуться, поезд в Сочи и почему-то спросила у проводницы, нет ли свободных мест, а проводница возьми и скажи: есть, во втором вагоне. И женщина бежит со своими сумками к вагону, в котором еду я. Сейчас она войдет в мой вагон – и я стану, наконец, старшим братом. Поезд отходит, Марина, задыхаясь, бежит по перрону, я различаю в ее дыхании слова, она произносит что-то на границе между дыханием и голосом, два слова, как милый, дорогой, невнятно, дыхание, вздымаясь, рвет концы слов, они повторяются, и я вдруг ловлю:

– Телефон звонит!

Пусть звонит.

– Телефон звонит!

– Да хрен с ним, пусть звонит!

– Телефон звонит! Пусти!!

И уже из другой комнаты:

– Подойди. Это тебя.

39

– Тебя, – Марина протягивает мне трубку.

– Привет, – говорит трубка, – это Коля из приемного пункта. Зайди ко мне. Поговорить.

– Сейчас?

– А чего тянуть? Через полчаса смену кончаем. Знаешь, где служебный вход? Черная дверь со двора.

Я иду через пустырь. Вот мои деревянные, точнее, древесные ворота. Что бы ни случилось, горе или беда, я должен обязательно пройти сквозь ворота мои, мои деревянные. Хорошо бы пропрыгать через ворота на счастье, но я сейчас не могу прыгать на одной ножке: ведь я не иду, меня тащат. Меня тащат сквозь всю мою жизнь: вот гусь, слон, собака и петух над входом в мой детский сад, серый фасад нашей школы с профилями бородатых людей. Вот парадная Козлевича.

Газон перед его домом засажен в основном кленами, а возле шестерки, где приемный пункт – одни березы, как проливной дождь. Почему я иду? Я понимаю, почему миллионы людей явились по повестке. Я не могу понять тех, кто не явился, кто, услышав стук милиции в дверь, вышел черным ходом. Тех, кто сопротивлялся, порвал смертельную повестку, уехал, бежал. Я чувствую удавку, которая тащит меня в приемный пункт. Убивать сегодня не будут. Убивать бы к себе не позвали. Сегодня поучат. Могут поучить бутылкой в жопу, могут монтировкой. И дадут неделю. Так чего тянуть? Сам Коля так сказал. Вот дверь. Черная.

Я не раз был в подсобке приемного пункта, но не могу ее описать. Помню только, что всё там из ящиков, запах какой-то зеленый, со стороны окошка слышен постук – это Колин подручный ставит бутылки.

– Садись, – Коля сидит за канцелярским столом с клеенкой.

Сейчас скажет: «Закуривай!»

– Я заплатил Толику твой долг, – говорит вместо этого Коля, – и на хлебозаводе заплатил. Этому, в очках. И про мои восемьсот забудь. Ты свободен. Но только на год. Я просто поспорил с одним твоим другом о возможностях социальной адаптации интровертов с нарциссоидальным типом личности. Я психфак кончал. Твой друг считает, что шансов на адаптацию у тебя нет. А я говорю, есть. Спор, собственно, не об этом, а о значении погрешностей при статистической обработке данных эксперимента. Ладно, короче: поработаешь год, все равно где, и ни во что не влипнешь – свободен. Не будешь работать или влипнешь – я твой долг передам людям. Тогда с тобой разберутся. Понял?

40

Успокойся, Шковский: ты выиграл. Ни на какую работу я устраиваться не буду. Вот ты говоришь: зачем Бог? Почему человек сам не может стать Богом? Ты, Шковский, не можешь, потому что Бог строит, а ты только препарировешь. Я не могу из-за задачи. Для Бога сложного нет, он всемогущ, а передо мной – задача. Сейчас расскажу. Выпьем – и скажу. Ну, давай.

Бог, Шковский, живет вне времени, ему легко знать, что будет, для него все – сейчас. Я из-за ваших экспериментов теперь тоже вне времени. Коля сказал: если я не устроюсь на работу, жизни моей остался год. Мне бы бегать, считать дни, у отца просить прощения, чтобы лаборантом устроил, а я – сам видишь... Во-первых, ясно: куда бы я ни устроился, год не проработаю. Так нечего и суетиться. Во-вторых, может, Коля за этот год сам помрет или попадет в больницу, и будет ему через год не до меня. Но главное, вчера я знал, что меня сейчас убьют, а сегодня я знаю, что сейчас меня не убьют – и просто живу. А будущего никакого нет. Будущее, горизонты, новые хорошие товарищи – бред. Нет другой судьбы. Нет другой железной дороги. Нет других друзей. Мои друзья – моя радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Пока я вижу только грязные цвета. Потому что Козлевич – размазня, Прохор – сволочь, Валера – торгаш, ты, Шковский, просто скальпель, насекомое с микроскопом.

А я должен видеть чистые цвета. Ведь Козлевич добрый, Прохор – сильный, Валера – жизнерадостный, Сашка – честный и верный. И ты, Шковский, по-своему человек.

Я не хотел бы быть Богом, потому что если б я стал Богом, радуга стояла бы передо мной всегда. И главная моя задача – увидеть ее чистые цвета – уже не была бы моей. И, увидев чистые цвета – понимаешь? – я бы не мог радоваться, как я радуюсь сейчас, когда я выхожу из времени и ясно вижу, как Уланенкову дают диплом врача, как Коля, проиграв пари, отменяет мой смертный приговор, как Козлевич, лысоватый и пухлый, в бежевом заграничном плаще, дочитывает нашу с ним рукопись, встает со скамейки и медленно, мимо детского сада и школы, мимо своего дома, идет к автобусной остановке.

* * *

Постояв у могилы деда-эстонца на окраине лютеранского кладбища, Козлевич идет к другим дедушке и бабушке, на соседнее еврейское. Тащится через все лютеранское кладбище. Мимо стоячих и лежащих советских плит, безликих и уже обветшавших, как хрущевские пятиэтажки, мимо надгробий прошлого века, возле которых останавливаешься рассмотреть пальмовые ветви, крыльями расходящиеся от креста, или прочитать в строгом и соразмерном прямоугольнике имена семьи Фрезер, через век XVIII, где на прекрасных ноздреватых, в завитках, плитах хочется распить бутылку домашнего вина или зачать новую жизнь. Город мертвых лютеран запущен: немцы-то тоже уехали.

Выйдя из одних ворот, Козлевич долго-долго бредет вдоль высокого и глухого забора до других ворот, до черных столбов кладбищенской синагоги. Окруженная пыльными лесами синагога похожа и на раскопки, и на современную некоммерческую стройку, которая периодически замирает, потому что министерский бюджет кончается или разоряется банк спонсора. Огибая леса, Козлевич, стыдясь своих мыслей, думает, что даже если стены синагоги позолотить и инкрустировать слоновой костью, синагога все равно останется

бывшей и вкладывать в ее украшение деньги – все равно что вкладывать их в расширение и украшение могильного памятника.

Судя по надгробьям – места у самой синагоги считаются лучшими. «Яков Малкин. Человек добрый и скромный» – написано на трехметровом постаменте из невиданного мрамора. Слева целое надгробное поместье. Мощенная черным гранитом дорожка с фонарями ведет к черным чугунным воротам. Мать Козлевича видела похороны: провожавшие приехали на длинных черных машинах, и все были одеты в длинные черные пальто. А вот огромный старый склеп вида мавританского. Все уцелело: ограда, колонны, витой полосатый купол. Только имени не осталось ни на воротах, ни под куполом – нигде.

Козлевич идет от синагоги в глубь могильного листового парка, не помня, а скорее чувствуя дорогу. Иногда он читает надписи на могилах – обычно там, где ему показывала мать. «Заславский Я. М. 1920–1941 Заславский Н. М. 1922–1942 Заславский Г. М. 1918–1943».

«Смотри, – слышит Козлевич пресекающийся от нервных слез голос матери, – три сына, три мальчика. Все трое – солдаты. Все дети погибли». Но рядом могила отца и матери Заславских, умерших в шестидесятые, с надписью: «От детей и внуков». Значит, кто-то из детей пережил войну: дочь, может быть? Козлевич ищет на плите имя дочери – и не находит. Дальше надо пробираться, почти протискиваться между оград. Вот здесь. Участок семьи Козлевича на самом краю, недалеко от забора, от железной дороги, разделяющей еврейское и лютеранское кладбища. Между могилами дедов – метров сто, и двадцать минут назад, стоя на лютеранском и глядя на забор, Козлевич подумал было: а не перелезть ли? Но не только чувство, что по кладбищам надо передвигаться приличным образом, а через заборы лазают исключительно церковные воры из рассказов, не только страх безнадежно испачкать бежевый туристский плащ остановил его. В неживых серых столбах, в грязной сетке разделявших кладбища заборов, в полосе отчуждения между ними было то, чем с годами обрастают, становясь непреодолимыми препятствия. Если бы что-нибудь мелькнуло между заборами. Если бы по рельсам простучал состав. Но и рельсы неживые. Козлевич подходит к могильной ограде. Надо стряхнуть с плиты листья, а у него нет ни граблей, ни рукавиц. Начинает идти редкий твердый снег – и иссыкает.

Козлевич отгребает кленовые листья ладонью, читает надписи. Предки лежат под одной плитой, у всех одна фамилия, имена обозначены инициалами, и Козлевич не может вспомнить, кто такой (такая) Ц. М. Шмулевич. Он считает предков, загибая мокрые и грязные пальцы: дедушка, бабушка, тетя Соня, но не находит в памяти Ц. М.

Козлевич пытается прочесть на память псалом. Порыв рыданий, короткий и косой, как порыв снега, схватывает его – и отпускает. Козлевич пережидает, держась за ограду. Пережидает, держась за ограду, и бредет к выходу. До выхода далеко. Все пространство, до самой высоты голубого теперь неба, заштриховано стволами и ветками. Присесть. Вот и скамейка со стариком в резиновых сапогах и ватнике. Старик беззубый и на первый взгляд дряхлый, но прижившийся к кладбищу, как ящерица к траве, как горлица к скалам.

– Могу оградку покрасить, замок сменить, траву скосить, выполоть, – начинает старик естественно, как дождь или снег.

– И есть работа? Евреи ведь уехали?

– Да, поуждали. А те, что остались, не заказывают. Видно, маловато им платят на производстве.

– А что это за железная дорога между кладбищами? – спрашивает Козлевич, которому хорошо разговаривать со стариком. – Она куда ведет?

– Там раньше не было никакой дороги. Заборчик стоял – и все. Потом, до войны еще, один инженер, Кениг его фамилия, провел ветку. Ему говорили – не берись, не трогай могилы. А он взялся, конечно. Ветку проложил – и сразу же сам лег. У ветки и похоронили.

– Так на каком он кладбище-то, – спрашивает Козлевич, – на еврейском или на немецком? Кениг – это вроде еврейская фамилия? Или немецкая?

– Не знаю.

– «Кениг» по-немецки – король.

– Да я сам в войну в Германии был, на работах, но подзабыл слова. Ничего не помню.

Мимо скамейки проплывает, как ветка в медленной реке, пара: здоровенный лысый парень лет сорока и невысокая, сухого профессорского вида, немка: немецкий, как тихо на нем ни говори, бьет издалека. Видно, немка – подруга этого в прошлом питерского человека, у которого здесь похоронены родители или дедушка.

– Простите, – спрашивает ее по-английски Козлевич, – мы тут поспорили: Кениг – это немецкая или еврейская фамилия?

– Кениг, – произносит, останавливаясь и хмурясь, немка и опять пробует слово на слух: – Кениг – конечно, немецкая.

Козлевич медленно идет к синагоге. За воротами, наверное, остановился автобус: как будто невидимая рука просунулась в ворота и бросила в вязкое пространство кладбища горсть людей, а люди медленно, как семена одуванчика, только не поодиночке, а парами, разлетаются по аллеям, похожие на воскресных садоводов. Из сумок их торчат черенки тяпок и граблей, ручки веников. Люди немолоды, никакой особой нацпринадлежности в их лицах не видно.

Козлевич, собравшийся было уходить, опять садится на скамейку. Он не может уйти. Козлевич думает, что надо было бы, наверное, чтобы и его похоронили здесь, что правильно было бы и ему лежать с родными, на родовом месте, между молчаливой непреодолимой железной дорогой и невидимым шумным шоссе. Но ясно, что быть этого не может. Хоронят дети, а его дети родились и живут в другой стране.

Да и самому, чтобы быть похороненным в этом чужом уже городе, надо дожить в нем до смерти, а об этом нечего и думать. Родители здесь, дети там, сознание Козлевича, шагнувшего отсюда туда, представляет собой что-то вроде понтонного моста, один конец которого – белый, жаркий, спящий город, другой – тенистое кладбище.

Сейчас Козлевич выйдет за ворота и поймает такси. Будет ехать, разговаривать с шофером и думать, чувствует ли шофер его акцент.

А вечером они встретятся с Ложкиным.